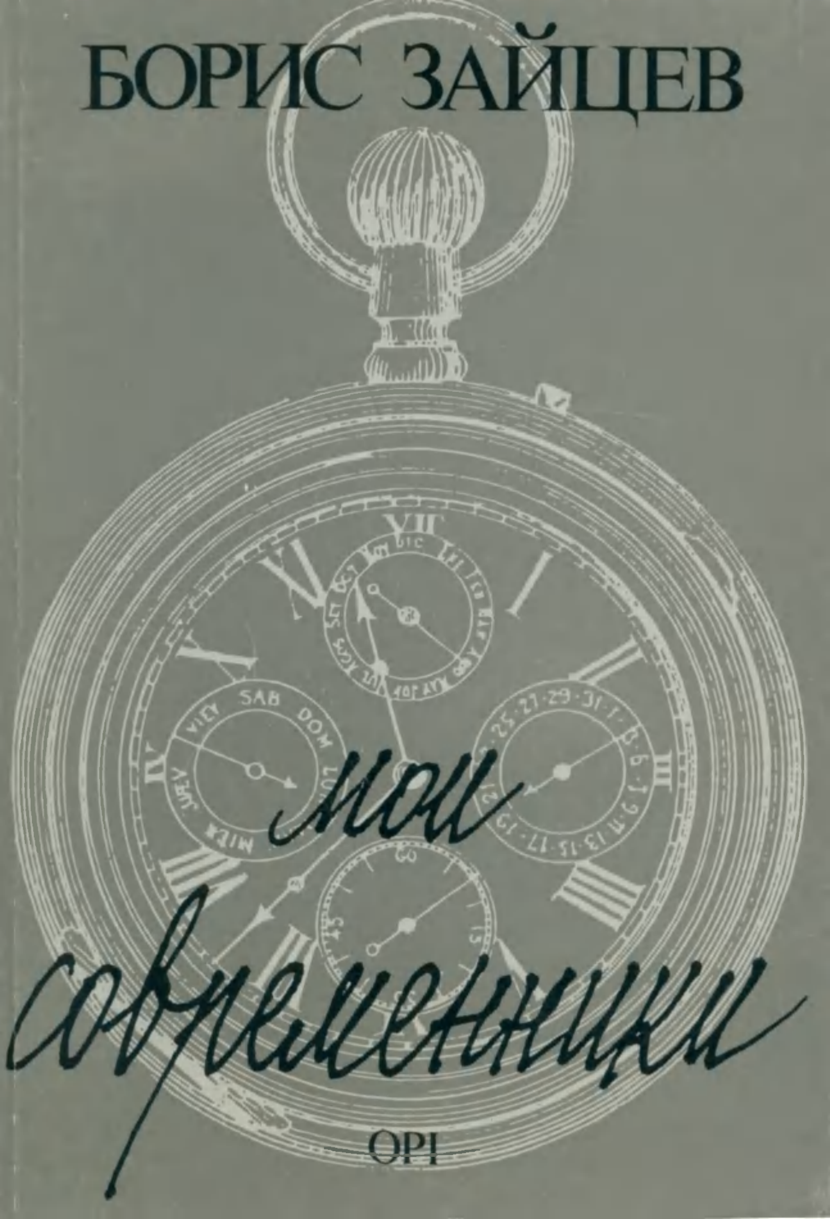

БОРИС ЗАЙЦЕВ
мои современники
OPI



МОИ СОВРЕМЕННИКИ

Boris Zaitsev

MY CONTEMPORARIES

Compiled by N.B.Zaïtsev-Sollogoub

With an introduction
by Boris Filipoff

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988

Борис Зайцев

МОИ СОВРЕМЕННИКИ

Составитель Н.Б.Зайцева-Соллогуб

Вступительная статья
Бориса Филиппова

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988

Boris Zaitsev: MOI SOVREMENNIKI.
Compiled by N.B.Zaîtsev-Sollogoub.
With an introduction by Boris Filipoff.

First Russian edition published in 1988
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 1 870128 75 3

Cover design by Danuta Niekrasov-Heller

Printed in France

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В состав ныне издаваемой книги «Мои современники» вошли очерки из ранее изданных книг «Москва», «Далекое» и различные журнальные статьи, опубликованные в свое время в газетах «Возрождение» и «Русская мысль». Все они в большей мере относятся к воспоминаниям Бориса Константиновича о его современниках, поэтах и писателях «Серебряного века».

Н.Б.Зайцева-Соллогуб

БОРИС ЗАИЦЕВ И ЕГО ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ

Сама парижская улочка, на которой последние годы жил с семьей своей дочери Борис Константинович Зайцев, была тиха, спокойна, помнится, даже загораживалась решетчатым чугунным забором с воротами от остального Парижа. Чем-то неуловимым напоминала она старозаветные старомосковские улочки и переулки, сходившиеся, скажем, к Собачьей площадке, — все эти Спасопесковские, Малотолстовские, где еще до конца двадцатых годов сохранялись и некоторые особнячки с обширными садами и царила та тишина, какая разлита в произведениях Бориса Зайцева.

Первое, что постоянно и всем приходит на ум, когда вспоминаешь или перечитываешь его, — это тишина, та именно благословенная тишина, какая предрасполагает к раздумьям и побеждает — в конечном итоге — шумную и часто бесцельную сумятицу обыденной и политической жизни. Вот и сверстник пишущего эти строки, поэт и литератор Юрий Трубецкой (Нольден) говорил о «Далеком» Зайцева, сборнике, в котором были опубликованы многие очерки, включенные и в эту книгу: «Тишина сильнее бури», «существуют слова, как бы пришедшие из других миров»[1]. Да ведь эти-то слова и не могут прийти не из других миров, и прийти не в состоянии иначе, чем в благодатной и творческой тишине, тишине глубокого раздумья, в плодотворном уединении (но отнюдь не отъединении от мира). О той же книге портретов и воспоминаний «Далекое» писал Ростислав Плетнев: «Из глубины сердца писателя исходит не бурный, но кристально чистый ток кастальских вод, отражающий восхи-

[1] Юрий Трубецкой. Из литературного дневника. — «Новое русское слово», 26 сентября 1965.

щение красотою»[2]. Поток тишины. Музыкально-лирический поток. «С этой музыкой, — пишет Ф.А.Степун, — связана и степень пластичности выведенных им персонажей. Они очень видны, очень пластичны, как в психологическом, так и в социологическом смысле. Но они пластичны пластичностью барельефа, а не скульптуры. Они как бы проплывают перед читателем, но не останавливаются перед ним. Они не скульптурны. Их нельзя обойти кругом»[3]. Лирический поток тишины. Но разве можно говорить о лирическом, музыкальном потоке **тишины**? Разве может быть слышна тишина? Очевидно, может. Ведь вот Пастернак утверждал, что тишина — лучшее, что он слышал. И даже

Тишину шагами меря,
Ты, как в будущность, войдешь.

И в этом Борис Пастернак перекликается с Борисом Зайцевым — недаром Зайцев так любил Пастернака. В письме ко мне он говорил: «У нас с Вами есть, насколько понимаю, общая симпатия и любовь: Пастернак покойный. У меня был Паустовский, рассказывал, что похороны Пастернака были как бы „национальными похоронами", но писателей было пять человек»[4]. (И Пастернак — при всей его крайней несхожести с Зайцевым — влекся к нему душой и писал ему полуисповедальные письма. Так, 15 марта 1959 он отвечал на письмо Зайцева: «...не могу Вам передать... как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного моего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой наверно нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам»[5].)

Тишина. Лирический поток. А к в а р е л ь н о с т ь письма Бориса Зайцева. «Зайцева часто называют акварелистом, — пишет Ф.А.Степун. — Это определение верно как общий тон его творчества»[6]. И так этой «акварельностью» критики прожуж-

[2] Р.Плетнев. О «Далеком» Бориса Зайцева. — «Новый журнал», № 83, 1966, с.294.

[3] Ф.Степун. Борису Константиновичу Зайцеву — к его восьмидесятилетию. — «Мосты», кн. 7. Мюнхен, 1961, с.19.

[4] Письмо Б.К.Зайцева к автору этой статьи от 5 июля 1963.

[5] Б.Зайцев. Далекое. Вашингтон, 1965, с.119.

[6] Ф.Степун. Цит. соч., с.20.

жали уши всем и каждому, говоря о творчестве Зайцева, что даже и сам Зайцев уверился в этом. 26 апреля 1934 г. Вера Николаевна Бунина записывает в своем дневнике: «Зайцев сказал: ...Ведь я знаю, что жизнь не такая, как я изображаю ее, а между тем иначе я не могу, без этих „акварельных тонов"»[7].

Конечно, не только творец, но и всякий решительно человек реконструирует, да и видит окружающее — да и самого себя — на свой собственный образец. «У Зайцева же, — говорит Л.Д.Ржевский, — всюду подчеркнута **реконструкция.** Рядом приемов акцентируется **модальность** суждения и экспозиции, иной раз и с непосредственным разоблачением повествовательного „я"»[8]. Но представленные Ржевским примеры «разоблачения повествовательного „я" — это скорее, полагаю, свойственное подлинному старому русскому интеллигенту отсутствие категоричности в суждениях и оценках, частые у Зайцева оговорки: «думается мне», «полагаю», «кажется мне»... Скорее прав Я.Н.Горбов, отмечавший (опять в том же «Далеком» Зайцева), как «вдумчива благожелательность» и как «осторожны прикосновения ко всему, что в свое время могло быть болезненным или заостренным»[9].

Вот этот-то моральный и идеологический релятивизм (но отнюдь не холодное безразличие!), это отсутствие категоричности суждений (и осуждений) подчеркивает в своих оценках литературных портретов Зайцева и Глеб Петрович Струве: «Зайцевские писательские биографии... продиктованы... большой внутренней симпатией и даже сродством с изображаемым писателем и построены поэтому на методе вчувствования. Обычный свойственный Зайцеву лирический импрессионизм, тенденция к стилизации характеризует их письмо»[10].

Стилизация ли? А не просто ли это присущее автору, как и всякому человеку, свое видение другого и других? Ведь непререкаемо прав, скажем, Н.Евреинов, в своей книге «Оригинал о портретистах» писавшии, что каждый художник-портре-

---

[7] Устами Буниных. Дневники И.А. и В.Н.Буниных. Под ред. М.Грин. Том 3. Франкфурт, изд. «Посев», 1982, с.9.

[8] Л.Ржевский. Тема о непреходящем. — «Мосты», кн. 7. Мюнхен, 1961, с.40.

[9] Я.Горбов. Литературные заметки. Борис Зайцев. Далекое. — «Возрождение» (Париж), № 167, 1965, с.145.

[10] Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора русской зарубежной литературы. Изд. 2-е. Париж, ИМКА-Пресс, 1984, с.266.

тист рисует каждый раз именно себя самого **по поводу** портретируемых им лиц. И, думается, прав скорее подчеркивающий значительно бóльший, чем у других, объективизм Б.К.Зайцева архиепископ Иоанн (Шаховской), по поводу «Далекого» в письме к автору (16 декабря 1968) говоривший: «Вы, **держась за реальность ткани жизни, делаете ее живой и теплой** — совсем **без** всякой желчи, без всяких сморщиваний лица от того или от другого, а как бы **провожая писателя и его творчество и жизнь — на Суд Божий** (в виде ангела-хранителя). И это отольется Вам самому. Какой мерой меришь, и тебя такой будут мерить»[11].

Это истинно христианское, бережное и любовное отношение к миру отмечалось уже в первое десятилетие его творческой жизни: «Главное у Зайцева — это любовное восприятие мира, с жизнью и смертью, с радостью и печалью»[12]. И с годами это восприятие мира у Бориса Зайцева все усиливалось и укреплялось.

По поводу того же сборника «Далекое» Вяч.Завалишин писал: «...никто не умеет так тонко и чутко улавливать черты необыкновенной одухотворенности в творчестве этих ...символистов (Блока, Белого, Бальмонта, Вяч.Иванова. — Б.Ф.). И мало кто с такой искренностью говорил об их религиозных исканиях, метаниях, сомнениях и колебаниях»[13].

Действительно, как, скажем, точна даваемая Зайцевым началу столетия, характеристика (его литературно-культурной жизни): «В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыхание». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, а руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и „нервических" девиц, богемы и полубогемы. всех „Бродячих собак" и театральных студий — был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Бло-

---

[11] Русский альманах. 1981. Под ред Зин.Шаховской, Ренэ Герра, Евг.Терновского. Париж, 1981, с.249. Подчеркнуто автором письма.

[12] Н.Коробка. Борис Зайцев. Критический этюд. – «Вестник Европы», 1914, №9, с.125.

[13] Вяч.Завалишин. «Далекое» Бориса Зайцева. – «Новое русское слово», 18 июня 1965.

ку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа)»[14]. Конечно, и эта характеристика не исчерпывает всего многообразия эпохи — и самого Блока характеризует хотя и правильно, но односторонне. Ведь и сам-то Блок отлично сознавал утонченную гнильцу его времени — и в 1907 году писал: «...Невообразимая и безобразная каша, идиотское мелькание слов. И вот — один тоненький, маленький священник в бедной ряске выкликает Иисуса, — и всем неловко... ...Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны — влоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме „утонченных натур", не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось. ...хорошо резюмировал прения остроумный философ. Но ведь они **говорят о Боге**, о том, о чем можно только плакать одному, шептать вдвоем, а они занимаются этим при обилии электрического света; и это — **тоже** потеря стыда, потеря реальности; лучше бы никогда ничем не интересовались и никакими „религиозными сомнениями" не мучились, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно сплетничать о Боге»[15]. И все-таки — от характеристики Бориса Зайцева никак не отмахнешься: в ней немалая правда — и как она перекликается с Блоком! А что чрезмерная утонченность сродни гнильце — и легко рвется — понимали хорошо и Зайцев, и Блок...

Но Блок-то писал с надрывом и желчью, а про чтение «Далекого» и — в частности — зайцевского очерка о Блоке, скажем, современник Блока поэт и критик Юрий Офросимов писал автору этой статьи: «...Борис Зайцев, как всегда, читается... с тихой радостью, успокаивая и умиляя»[16].

И не следует думать, что эти свойства творчества Зайцева — в частности, его портретных очерков и воспоминаний — делают его несколько однообразным и монотонным. Тот же Ф.А.Степун, говоря об акварельности как основном тоне его произведений, указывает, например, на одну из его лучших вещей — повесть «Анна» — как на написанную густым и ярким маслом. А Юрий Иваск писал, что он, читая более позднего Зайцева, «услышал голос, уже не сладостный, услаждающий слух, а слегка глуховатый, ровный, без модуляций и очень живой. Слух улавливал новые интонации в этой неторопливой речи

---

[14] Очерк «Блок» в наст. изд.

[15] Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах, том 5, ГИХЛ, М.–Л., 1962, с.211.

[16] Письмо к Б.А.Филиппову от 9 августа 1965.

с особенными паузами, оживляющими медленное повествование»[17].

Это «медленное повествование», оживляемое «особенными паузами», — отнюдь не просто простотой незамысловатой: простота-то здесь отнюдь не простая, замечает тот же Ю.П.Иваск: «Зайцев и Бунин пишут просто, но с умыслом. Это не простота „человеческого документа", а художнически выверенная и обновляющая язык»[18]. Это — та **реконструкция** непосредственного восприятия, о которой говорит и Л.Д.Ржевский. И все, чаще всего, в особом музыкальном строе речи: «Неповторимо свой ритмический оттенок... у Зайцева, — пишет П.Грибановский. — Он вообще весь во власти ритмов, и власть эта скорее подсознательная»[19].

Интересно, что музыкальность стихов и прозы отнюдь не всегда сопрягается у прозаиков и поэтов с их музыкальностью в прямом значении этого слова. Иной раз у прозаиков и проза становится ритмизированной и переходящей в стихи (Гоголь, Андрей Белый), иной раз, как у Бориса Зайцева, она принимает не сразу уловимый ритмический рисунок. А вот тот же Зайцев писал мне 17 августа 1965 года: «В музыке более чем слаб». Думаю, что эта нечуткость к музыке как к искусству у музыкальных мастеров стихов и прозы объясняется тем, что омузыкаление речи вытесняет у них искусство музыки как таковой. Зато музыка слов получает у них изощренное звучание.

Этим нагромождением цитат хотелось мне показать, что представители далеко не одного поколения находили и находят в творчестве Б.К.Зайцева одну доминирующую черту — лирический поток тишины и взгляд на жизнь, на мир, на его современников — sub speciae aeternitatis, позволяющий при этом смотреть на окружающее и окружающих отнюдь не с холодным мнимым объективизмом, отнюдь не отрешенно, а с подлинным любовным вживанием в самую сердцевину их души, но без часто неизбежного налета желчи и сиюминутной злободневности. И вот эта зайцевская боговдохновенная тишина поэтому так

---

[17] Ю.Иваск. Запоздалый ответ Б.К.Зайцеву. — «Русская мысль», Париж, 28 марта 1961, №1661.

[18] Ю.Иваск. «Река времен» Бориса Зайцева. — «Русская мысль», 18 февраля 1971.

[19] П.Грибановский. Борис Константинович Зайцев. — «Русская литература в эмиграции». Сборник под ред.Н.П.Полторацкого. Питсбург, изд. Питсбургского университета, 1971, с.145.

и неприемлема советским властителям, что, скажем, в «Краткой литературной энциклопедии» (Москва) Зайцеву, крупному русскому писателю, уделено всего 45 строк, а бездарнейшему и безграмотнейшему тупице, критику-нигилисту второй половины прошлого века Варфоломею Зайцеву — 124 строки. Ибо Борис Зайцев выразил, мол, и склонность к «мистическому восприятию жизни», и «враждебное отношение к революции»[20]. Но вот Бунин, например, громогласно и яростно, на первый взгляд, гораздо более крепко, чем «тишайший» Зайцев, высказал свое отвращение к Октябрю и большевикам, но отнюдь не вызвал своими ожесточенными проклятиями такой вражды к себе, как его давний приятель — лиричнейший Борис Константинович. В той же «Краткой литературной энциклопедии» Бунину отведено целых четыре столбца и говорится, что «во многом противоречивое наследие Бунина обладает большой эстетической и познавательной ценностью»[21]. Тихое, сдержанное и без размахивания кулаками осуждение большевизма Борисом Зайцевым кажется Советам куда более опасным, чем та же бунинская ярость.

А антикоммунизм Зайцева непререкаем и принципиален. Зайцев, например, отнюдь не отрицал яркой даровитости Алексея Толстого, но когда тот, уже советским графом, приехав в Париж, захотел встретиться с ним, Зайцев категорически отказался от встречи. В.Н.Бунина записывает в дневнике 19 июня 1934: «Письмо к Яну (Бунину. — Б.Ф.) от Зайцева: ...Фондаминский виделся с Алешкой (А.Н.Толстым. — Б.Ф.). Передал Боре, что Толстой хочет с ним повидаться. **Зайцев отказал**»[22].

Уж на что были дружны Зайцев и Бунин. Их дружба длилась десятилетиями, особенно в эмиграции. Дружили они, дружили и их жены. Но вот, после окончания Второй мировой войны, разгрома гитлеровской Германии, «в эмиграции, — пишет Зайцев, — в это время начался разброд. Большие надежды на восток, церковные колебания, колебания в литературном, даже в военном слое. Все это привело к расколу. ...Странным образом мы оказались с Иваном в разных лагерях — хотя он был гораздо бешенее меня в этом (да таким, по существу, и остался...) Теперь он сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко я стоял.

[20] Краткая литературная энциклопедия, том 2, Москва, 1964, стб.978.
[21] Там же, том 1, М., 1962, стб.775.
[22] Устами Буниных. Том 3, 1982, с.14.

...Прямых объяснений не произошло, но он понял, что я **против**. Тут уже ничего нельзя было поделать. Темпераменты разные, но я не уступал ни пяди. Он более и более раздражался. Озлобленность его росла. Мы перестали встречаться»[23]. И хотя через некоторое время и наступило некоторое примирение, но еще 10 января 1952 г. Зайцев писал архиепископу Иоанну (Шаховскому): «...А с Буниным, к сожалению, все оборвалось. Владыко, помолитесь о них. Они оба старые, больные... на все и на всех раздражены. Мы не встречаемся. Жизнь их ужасна»[24]. Тихое, не желчное, но принципиальное осуждение. И не человека, а лишь одного «неосторожного» поступка его. Даже сравнительно случайного сотрудничества Бунина в печатном органе большевиков в Париже. Бунин оправдывался и ругал осуждавших его: нужно, мол, было знать их, Буниных, нищету в то время. Но вот запись В.Н.Буниной 11 августа 1946 г. — о посещении их, Буниных, советским генералом от литературы Константином Симоновым: Симонов похвалялся своим положением в советском обществе и литературе, своими секретаршами, машинистками, своим благосостоянием: «Симоновское благополучие меня пугает. ...Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности..., то я думала о наших писателях (эмигрантах. — Б.Ф.) и старших, и младших. **У Зайцева нет машинки**»[25]. Так что бедность давно уже перешла порог и зайцевского дома... Но не заставила его хотя бы на миг задуматься о большевистской Каноссе. Не крикливая, но стойкая непримиримость.

Высоко ценил Борис Зайцев поэзию Александра Блока. И видит он, вовсе чуждый самому духу и тону блоковской поэзии, ее вакхически-демоническую силу. И признает, что поэма «Двенадцать» одновременно и «мертва духовно, и проникнута поэзией, — вот удивительно!» Но, верный своей непримиримости к Октябрю, он открещиватся от «Двенадцати» и от того соблазна, какой несет в себе эта поэма: «Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, вознесена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было. Христос **мелькнул** ему, призрачный и туманный, потому что **зова** настоящего в нем (Блоке. — Б.Ф.) не было — исчез. Мелькнуло и видение револю-

---

[23] Через тринадцать лет. — См. в наст. изд.
[24] Русский альманах. 1981, с.237.
[25] Устами Буниных. Т.3, 1982, с.182. Подчеркнуто мною. — Б.Ф.

ции, как ложная незнакомка»[26]. Да, мелькнула, как ложная незнакомка. Вот хотя бы рассказ хорошо знавшего Блока Юрия Анненкова:

«В последний год его жизни разочарования Блока достигли крайних пределов. В разговорах со мной он не боялся своей искренности:

— Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! — повторял он. — И не я один: вы тоже! Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!

Или:

— Опротивела марксистская вонь. Хочу внепрограммно лущить московские семечки, катаясь в гондоле по каналам Венеции. О, Ca d'Oro! О, Ponte dei Sospiri!

Такие фразы не забываются!»[27]

Да и сам Блок, отнюдь не отрекаясь от «Двенадцати» как **события**, хорошо понял — какое рабство принес Октябрь: «**Покой** и **воля**. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже больше нечем; жизнь потеряла смысл»[28].

Умер поэт. И, спрашивает Зайцев, «Что можем сказать теперь мы, современники и сочувственники его и поклонники? — Братский привет дорогому поэту, душе его мир, свет»[29].

Конечно, трактовать Христа в финале поэмы можно и иначе, чем это делает Борис Зайцев. Вот, например, соратник Блока по «скифству», его друговраг Андрей Белый видел в стихийном взрыве революции с босяком Петькой, каторжниками вообще («12»), с проституткой, и «даже проституткой низшего разряда, „Катькой"», — почти непроглядные предрассветные сумерки перед грядущим «началом светлого воскресения Христа и Софии, России будущей». «Да не так же это надо понимать, что идут двенадцать, маршируют, позади жалкий пес, а впереди марширует Иисус Христос, — это было бы действительно идиотическое понимание. „Впереди Исус Христос" — что это? —

---

[26] Очерк «Блок» в наст. изд.

[27] Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл третий. Том 1, МЛС, 1966, с.74.

[28] А.Блок. О назначении поэта. — Собр. соч. в 8 тт., том 6, ГИХЛ, М.–Л., 1962, с.166.

[29] Очерк «Блок» в наст. изд.

Через все, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это „все" идет к тому, что „впереди", — вот к какому „впереди" это идет»[30].

Наконец, было, например, и такое, достаточно парадоксальное толкование финала «Двенадцати», о котором рассказывает С.К.Маковский:

«..Но от красноармейцев Христос, „за вьюгой невидим, и от пули невредим", уходит „нежной поступью надвьюжной". Уходит от них, или — ведет их? Вспоминается мне, как Максимилиан Волошин, навестивший меня в Ялте (в 1918 году), толковал мне конец „Двенадцати":

— Да ведь это против большевиков написано! Двенадцать лжеапостолов не идут за Христом, а преследуют Его, как врага, расстреливают Его. Революция распинает Христа. Вот смысл!

— Однако же Христос машет красным флагом, — возражал я.

— Красный флаг в руках Христа, — волнуясь, доказывал Волошин, — очень страшный символ. Кровь ведет народную стихию — и человеческая, и Божья; ведет кровяная хоругвь ко вратам грядущего Царствия... Блок ощущал революцию не как политик. В минуты прозрения он ощущал революцию эсхатологически. Поэт слышал голос народный о преображающей силе „черной злобы, святой злобы" на погибель „старого мира"»[31].

Но ведь и Зайцев — в очерке «Блок» — считал, что поэма «Двенадцать» «двусмысленна, потому-то более умные из „тех" (большевиков. — Б.Ф.) должны в**полне** от нее открещиваться»...

Мне показалось необходимым в этой статье, предваряющей книгу Бориса Зайцева и построенной как цепь цитат, подробно остановиться на двух-трех эпизодах, наиболее характеризующих безжелчное, часто даже безмолвное, но принципиальное осуждение Зайцевым не самого человека — а совершенного им г р е х а.

А осуждать и вообще-то Зайцев ох как не любил! не любил поэтому он и некоего презрительного зубоскальства, и при случае ласково, но все же пенял за него других. Похвалив книж-

---

[30] Памяти Ал.Блока. Сборник. London, Overseas Publication Interchange, 1980, с.52.

[31] Сергей Маковский. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962, с.174.

ку пишущего эти строки, пожурил его за некоторые хлесткие словечки: «„Стишата" Надсона — очень хорошо, но все-таки мне стало его немножечко жалко: больной, слабенький был... с нелепо-шумной „славой" у провинциальных барышень». И — из моих современников — весьма признавал действительно хорошего и, пожалуй, близкого ему чем-то по духу поэта — Лидию Алексееву: «Алексеева — моя симпатия заокеанская»...

Как написана предлагаемая ныне читателям и составленная дочерью Бориса Константиновича Зайцева — Наталией Борисовной Соллогуб — эта книга? Мне думается, что это — не акварель, как рассматривают многие письмо Зайцева, и не барельеф, как видится оно Федору Степуну, а скорее — тонкий рисунок остро отточенным карандашом, чуть подцвеченный акварелью. Эта эскизность, кажущаяся незавершенность и создает то отсутствие статичности, тот поток, ту жизненность — и ту лирическую музыкальность, какие делают вообще прозу Зайцева и в частности его литературные портреты столь напоенными воздухом и столь нас трогающими. Эти наплывающие на нас лица, события, атмосфера, их окружающая, слова, ими или о них кем-то и когда-то сказанные, — как бы возникают из тихого притина, из молчания — и делают нас самих, для нас незаметно, участниками рассказываемого. О слове Бориса Зайцева хорошо сказал поэт Владимир Смоленский в стихах, Б.К.Зайцеву посвященных:

...На немых губах человека
Возникло оно из молчанья. ...
...Оно то громче, то тише
Губы твои обжигает —
А голубь воркует на крыше,
Ничего о слове не знает[32].

Эти зайцевские портретные рисунки, эти его воспоминания передают не только портреты отдельных лиц, но, что не менее для нас важно, и саму атмосферу эпохи, навсегда от нас ушедшую. И они рисуют эту эпоху пусть глазами автора (иначе ведь и не бывает — и быть не может!), но глазами умудренного сердца, растеплившего чуть холодноватый спинозовский интеллектуальный завет: «не плакать, не смеяться, а понимать» — особым пониманием — пониманием любящего жизнь и живущих сердца.

---

[32] Мосты. Кн. 7, Мюнхен, 1961, с.41-42.

В этих портретах, в этих воспоминаниях много и именно **русского** настроя. Хотя и прав Степун, отметивший, что «в зайцевском патриотизме нет ни политического империализма, ни вероисповеднического шовинизма, ни пренебрежительного отношения к Европе»[33]. Да разве они должны обязательно сопрягаться с патриотизмом, с русским национализмом? И разве русский национализм, даже просто сознание своей принадлежности к русскому народу обязательно должны быть декларативно-декламатичны и подчеркнуто плакатны? «Я сам русский, но не до потери сознания», — писал Зайцев мне в одном из писем. И это «не до потери сознания» и не позволило ему ни на минуту увлечься советизанским угаром, вызванным в части русской эмиграции расширением границ государства советского и его грозной мировой ролью. Советский и советизанский «Гром победы раздавайся!» не заставил его «крикнуть громкое ,,ура''!»

Да, тишина чаще всего сильнее и крепче бури. И Зайцев спокойно, стойко, достойно принял свою судьбу писателя-эмигранта с ее неизбежной ущербностью и даже известной безотзывностью. И в одной из последних своих статей, посвященной эмигрантским литераторам, писал: «Кому назначено судьбой делать свое что-то, да делает; и здесь, кто как умел, в меру данного ему, делал, а теперь большинство успокоилось навеки, а оставшиеся могут лишь вздохнуть, но так же ждать часа своего, не выпуская из рук своих вожжей, коими править тебе дано в краткой жизни до последнего издыхания»[34].

А теперь успокоились навеки и все, о ком речь идет в настоящем сборнике. И очерки и статьи Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972) рисуют нам такую живую и одухотворенную картину навеки ушедшей от нас эпохи, какую никогда не в силах дать ни сухая школьная история, ни даже многие мемуары, излишне занятые только своими личными судьбами. Рисуют картину эпохи с ее взлетами и падениями, с ее треволнениями и искушениями. И картину зарубежной России «первого поколения» эмиграции. И все это написано Б.К.Зайцевым с тем, присущим ему, глубоким вживанием в описываемое, какое и придает непередаваемую трепетность жизни его произведениям.

---

[33] Ф.Степун. Цит. соч., с.21.

[34] Борис Зайцев. Изгнание. – В кн.: Русская литература в эмиграции, с.5.

И — это главное — Борис Зайцев всячески избегает, если это возможно, судить и осуждать своих современников, а, говоря словами арх. Иоанна (Шаховского), как бы провожает «писателя и его творчество и жизнь — на Суд Божий»...

Борис ФИЛИППОВ



МОИ СОВРЕМЕННИКИ

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

(Отрывок из воспоминаний)

...И вот вызвали меня однажды к телефону, низкий глуховатый голос сказал:

— Да, да, получил рукопись... Приезжайте, потолкуем.

Он назвал меня по имени и отчеству. Я был в восторге — «помнит, не забыл!»

Часов в пять подвозил меня ялтинский парный извозчик к даче Чехова. Я позвонил. Дверь отворилась, такой же юноша, как и я, но с трубкой рукописи под мышкой, вышел на крыльцо, за ним слегка сгорбленная, знакомая фигура. Мы прошли в кабинет.

Из большого окна видны горы. На стенах фотографии, левитановский пейзаж. В нише — мягкий турецкий диван, туда Чехов и забрался, а у меня плыло в глазах. На письменном столе лежала моя рукопись.

Чехов покашлял, помолчал.

— Это у вас в форме дневника... Вы туда можете что угодно всунуть. Вы вот мне повесть напишите.

Для него я готов был написать и роман, и стихи, что угодно.

— Очень уж мрачно. Это от молодости. А так... ничего. (Он прибавил несколько «ободряющих» слов.)

Я всплывал, начинал дышать.

Пенснэ он свое подергивал, продолжал сидеть глубоко на диване, замолчал. Стало опять жутко. Чтобы как-нибудь сдвинуться, попробовал я спросить, как он сам пишет: «с натуры или воображением?»

Должно быть, о таких глупостях спрашивали его не раз. Он мрачно ответил:

— Если у меня на руке пять пальцев, не могу же я сказать, что шесть.

И замолчал совсем. Я не знал, как дальше поддержать разговор.

Но вдруг сам он заговорил — приветливее, мягче: стал расспрашивать, сколько мне лет, где учусь, хочу ли и где напечатать свою вещь. И сразу простой естественный тон возник. Правда, я недолго его мучил. Минут через двадцать выходил, в ту же дверь, окрыленный, сияющий, навсегда окончательно уже Чеховым «взятый».

Я встречал его еще несколько раз — в городском саду, в ресторане. Он нередко сидел за столиком, пил красное вино, в пальто с поднятым воротником (вечера бывали прохладны). Раз, довольно поздно, натолкнулся я на него в уединенном конце набережной, он сидел на скамейке, тоже в пальто, глубоко шляпу надвинув. Очень к нему шло одиночество, пустынное море, шумевшее в скалах, ночь, звезды... Так и остался в памяти Чехов ялтинский: надломленным и кашляющим, одиноким, прохладным, со складкою задумчивости, грусти. Он уже сильно был болен. Временами шла горлом кровь. Дамы, поклонницы, поклонники, общее внимание на музыке в городском саду вряд ли особенно и развлекали. Любимый журавль, собачка на даче, ночное море... Он писал в это время «Трех сестер». Жить ему оставалось три года.

* * *

Именно эти три года — наибольшая его слава, проявление любви к нему, даже обожание. «Три сестры» и «Вишневый сад», прелестные вещи, как «Архиерей»... — и болезнь, быстро съедавшая. Чехов жил в Аутке, как в санатории. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр: там и играла О.Л.Книппер, на которой он только что женился. Иногда он в Москву «сбегал», всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы, ресторан «Эрмитаж», красное вино.

И когда раз зимой, кажется, в 1903 г., встретил я его на «Среде» у Телешова, Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича на Чистых Прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное «мертвое» пространство — впрочем, ему трудно было бы и заполнить его, по слабости. Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти и не ел, и не пил. Только покашливал, да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именин, шел впервые с триумфом «Вишневый сад». Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя пол-

года, в Баденвейлере сказал «ich sterbe» — вздохнул и умер.

Мы хоронили его в Москве, в светлый день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о ком — не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия, через всю Москву, которую так любил покойный. Служили литии — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли.

БЛОК

(Воспоминания и размышления)

Я встретил впервые Блока весной 1907 года, в Петербурге, на собрании «Шиповника». Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик — юноши, пажа, поэта — все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто — и это шло ему. Стихи читал как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушаюших себя отделяя — холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.

В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уже отходил от «первоначальной» своей манеры).

В июле 1908 года мне пришлось жить у Г.И.Чулкова, «мистического анархиста», на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полусветлых, о блужданьях — и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полуискусственному, полуестественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.

Помнится, у Блока резче обозначились уже черты лица, вес в них прибавился, огрубел цвет. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил как бы покачиваясь. И на сердце невесело — такое впечатление производил. Мы

ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром. Много и довольно бестолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренно, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездорово жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.

От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла.

Странные вообще были у него глаза.

* * *

В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым, почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки — искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз), все проникала — и большая искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнабулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба — в его стихах. А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.

В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыханье». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полубогемы, всех «Бродячих собак» и театральных студий — был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).

Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность

для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно — был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке — над болотом.

* * *

16 августа 1912 года, свежим утром, на Мясницкой в кондитерской я встретил Блока — и запомнил встречу, потому что это был день важного события в моей семье — рождение нашей дочери. Радостно было встретить именно тогда Блока московского — спокойного, приветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой надписью. Эти книги долго странствовали с нами, в разноообразных положениях страшной эпохи — теперь, увы, развеяны по ветру.

А сам Блок надолго тогда же ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге — там и вел то сражение, которое есть — земной наш путь.

Ударила война. Он на нее как будто бы не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уже признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и Крест» — одно из самых тонких и возвышенных своих произведений, с удивительной песнью Гаэтана. Пьеса — в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.

Затем, уж в революцию, шел «Соловьиный сад» — прощание с прежним, наконец — «Двенадцать».

Ясно помню вечер, в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.

— Вот, смотрите, что Блок написал.

Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» — другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинелей и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну, что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, вознести к высшему, р а з р е ш и т ь .... чем не задача?

Я принялся читать. А позже — возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Кой-где постреливали, и нередко грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую — своей поэмой.

«Наш, наш!» — завопили одни и кровавыми объятиями стали «обымать» — Блок с нами, вон он как попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента... Ну, понятно, у самого пережитки... в белом венчике из роз, впереди Исус Христос... старый словарь... Но это первые шаги, а там он разработается.

Другие отходили — некоторые резко, иные с грустью.

— Блок стал большевиком! Такой поэт... и с ними!

Ни те, ни другие вполне правы не были, а основания имели. Действительно, двусмысленна поэма.

Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только «в белом венчике из роз», но и с «кровавым флагом» — есть некоторое «да». Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет — хоть и слепых — какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение «малых сих» — и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» их делу.

Чем не мысль? И чем не тема для поэмы? А пожалуй, даже и мистерии? Какое грандиозное разрешение! Сам Христос, за мир Свою кровь изливший, Сам омоет прегрешения?

Все это хорошо, но Блок такой поэмы не написал. Быть может, он хотел бы написать — не смог.

Он написал не поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света, и ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как в «Снежной маске» (но еще сильней) — ибо нет духа животворящего. «Скучно!» — так кончается восьмая глава. Как не быть скучно в атмосфере смерти?

«И сказал Иисусу: помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»

«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Это Священное Писание. Но Достоевский не священный, просто писатель, и у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие — только Евангелие, — никакого Христа олеографического нет — и это трогает, и очищает. У Блока же все вышло мертво. В одном лишь «Петьке», застрелившем сдуру «Катьку», что-то шевельнулось — и заглохло. Разве дадут «этому» процвесть «апостолы»?

Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!

А раз Блок написал такую «скушную», «безвоздушную» и безнадежную революцию, то на что он, в сущности, революционерам? Разве может его поэма кого-нибудь воодушевить? Нет, ибо в ней нет духа. Потому-то она и двусмысленна, потому-то более умные из «тех» должны вполне от нее открещиваться, она полна того маразма, нигилизма, с каким вообще ничего сделать нельзя — даже человека убить.

Мертва духовно — и проникнута поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний блоковский хмель и тоска, и дикая Русь, и мрак. И еще удивительно: «Двенадцать» менее всего «произведение искусства». Это явление, происшествие. Показание на некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно понимать поэму как порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении — на давно наседавшего врага.

— Любви, любви! И разрешения! И воздуха!

Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чем-нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали ее, и даже Незнакомки нет, все это прежнее, «Соловьиный сад», а трудно жить ведь без чего-то «по ту сторону», да еще такому поэту — Блоку. И вот явилось «человечество» и «революция». Отдаться бы им!

Как будто бы отдался. Как будто бы почувствовал трагедию полюбленного, и мелькнуло разрешение. Писал в подъеме очень сильном (поэтическом подъеме), звуки, слова, ритмы... из-под ног же земля уходила. Опереться не на что. «Музыка революции» дана, а разрешение...

Дело простое.

Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было. Христос мелькнул ему, призрачный и туманный, потому что зова настоящего в нем не было — исчез. Мелькнуло и видение революции, как ложная незнакомка.

И получилось то двусмысленное, путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всуе помянуто, и что есть — «Двенадцать».

* * *

В начале Блок читал поэму часто. Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте. С некоторых пор и пе-

рестал читать эту вещь. Раз на вопрос о Христе ответил:

— У меня Христос компилятивный.

Что этим хотел сказать, не очень ясно. вряд ли ответил бы так тот, кто Христа живого чувствует.

Весной 1920 г. приезжал Блок в Москву. Под аккомпанемент взрывов на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее. Но «Двенадцати» не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил:

– Я больше этой вещи не читаю.

Люди близкие передавали, что Блок в страшном упадке, что надорвано его здоровье, – он не пишет, окончательно во всем разуверился и едва жив. Надо сказать, что революция подорвала Блока сильно. Он таскал наверх дрова, дурно питался, холодал – в этом делил судьбу почти что всех. Но и особенный мрак над ним сгущался, не зависящий от дров или цынги.

Из деревни я послал ему последнюю свою книгу (печатавшуюся в самом начале революции). Получил длинное письмо, очень дружественное, от «сочувственного сердца». Поразил меня тон беспредельной грусти, разлитой в письме – и тронул. Точно он прощался, и о чем-то сожалел, недоделанном и самом важном. Нас же ощущал как «Путников» (так называлась книга). Я помню, была фраза: «Давно мы с вами встретились, да все были врозь, не пришлось сойтись ближе, хоть и можно было бы. А теперь, кажется, уже поздно».

Победители не пишут так. Что-то пронзало, убивало. И в тоске своей вы правильно почувствовали, Александр Александрыч: поздно было уже сходиться.

* * *

В последний раз Блок приезжал в Москву весною 1921 года. Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали. (В «Книжных лавках писателей»). Много печатали. Дошло до того, что одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных). Скоьлко мне помнится, эта глупость не удалась. Но, все равно, Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающим стареть.

Читал он в нескольких местах. Союз писателей устроил вечер в честь его.

Союз наш – старый особняк, дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал, большой, с библиотечными шкафами и

диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами удобными, столом огромным, тоже книжными шкафами, бюстом Пушкина.

На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова знакомая, огромный лоб, рыжеватые волосы. Вокруг кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачной силой.

И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии своей и самой жизни. «Вот человек, – казалось, – из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость».

Он был уж тяжко болен. Но, думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все было сорвано. Тьма, пустота.

В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати. Там было проще и грубее. Футуристы и имажинисты прямо кричали ему:

– Мертвец! Мертвец!

Устроился скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio italiano. Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии – и как далеко это было от Италии!

* * *

Он прожил после этого недолго. Страдальчески прошли последние его месяцы. Теперь он был обставлен материально уж неплохо, кажется. И разрешили ему ехать лечиться (раньше не позволяли) – было поздно. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки писателей появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз писателей приглашает на панихиду в церкви Николы на Песках, в 2 1/2 часа дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На

него с улицы печально взирали барышни московские.

В 2 1/2 часа дня о.Василий в сослужении с о.Ник.Бруни, молодым священником-поэтом, отслужили панихиду в ясном, солнечном дне августовском — по «безвременно-скончавшемся» поэте.

Что можем сказать теперь мы, современники и сочувственники его в некотором роде, и поклонники?

Братский привет дорогому поэту, душе его мир, свет.

Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились и тут имажинисты — устроили издевательские поминки, под непристойным названием). Пожалуй, Блок был любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души — повторяю: Блок выражал собою полосу России. Эта полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» — ибо ничего не мог противопоставить напору революции. «Блокизм» расплывчат и тепличен, нездоров, некрепок и ничем активным не обладает.

Он истек «клюквенным соком» (крови настоящей не было!). Да как могло быть и иначе, когда сам его создатель сдался, повалился в «Двенадцати»?

По смерти Блока появилось множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что, пожалуй, не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал сам в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы вправе обсуждать их.

И один отрывок — величайшей важности для понимания Блока. Набросок пьесы из жизни Христа («Русский Современник»). Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина, ни мужчина», о св.Петре: «дурак Симон с отвислой губой» или «все в Нем [Иисусе] значительное от народа», «апостолы крали для него колосья» — все-таки он написал. Это, скажем, не литература. Но... что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи «Двенадцати». Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот в каком настроении она создавалась. Что же, «настоящий» Христос вел «Двенадцать» или «блоковский», «ни женщина, ни мужчина», у Которого «все значительное от народа»? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок пристегнул к своему писанью. Вот что значит-то: «компилятивный».

Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении давней болезни души Блока — погубившей его.

* * *

Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, пронзающий шарм их:

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

Куда бы ни зашел Блок и чего бы ни наделал, как бы жизнь свою ни прожигал, туманил, иногда грязнил — в нем было то очарование, которое влекло сердца и женские, и мужские, та печать, что называется «избранничеством». Хотелось бы, чтобы именно такой, которому дано не скупо, выдержал бы, пришел к Истине, победил. А он не выдержал. Жизненный бой проиграл. И побежден. Что же из этого? Показан нам облик печальный, может быть, даже трагический. И Данте находился in una selva oscura, и лишь любовь Беатриче, пославшая ему Вергилия, вывела из тьмы. Данте сам с и л ь н о л ю б и л . Ему и была дана помощь В Блоке страстности, пылания никогда не было, и вышло так, что за него не заступилась Прекрасная Дама, которой он изменил. Но тут уж мы подходим к тем истокам судеб, о которых не дано нам судить.

* * *

Здесь, в Провансе, часто вспоминаю вас, Александр Александрыч. Это край и тот пейзаж, где жил Петрарка, где старинные труверы пели, край Лауры. Все это вам близко — вам, автору «Розы и Креста».

Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, оливковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий голубеющий свет разливается над всем — когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так о д и н в горах, то... часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно и не-

нужно: кажется, показать бы вам вот этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, войнами и бойнями, — взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте, — и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б, раз навсегда, слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.

Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все — души Чистилища. Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться.

Domaine de la Pugette
Пасха 1925 г.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Царицыно — дачное место под Москвой, по Курской дороге. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню, — говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

— Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик, лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже — очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой, на берегу — пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец — профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретилась с ним в Москве, он стал студентом и оказывается поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури»... Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» математик, крашеный старик с разными причудами — молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знал: блестящая женщина, но совсем иных устремлений — кажется, очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились — не просто голубые, а ла-

зурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала, оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхоленный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то — поэт, мистик с оттенком пророчественности и символист (по другим «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное — не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже такой случай: на студенческом собрании в раздражении спора кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения быстро привлекли внимание — насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острей и д у х о в н е й ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме — полулитература, полумузыка... Лес, кентавры, беклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна — все это неслось в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева — в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших Белому и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке «прелестью». И оба оказались — по-разному, но — вроде одаренных лжепророков.

Как бы, однако, об этом ни судить, что бы ни говорить о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» оттиснут в памяти печатью романтическою — прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летящее, с оттенком безумия.

* * *

В публике его сразу определили чудаком, многие и смеялись.

Все газеты обошло двустишие из «Золота в лазури»:

Голосил низким басом,
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О, закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это — природа его. Брюсов был делец, Белый — безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

«Литературно-художественный кружок» в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен — зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игорные залы. Брюсов был одним из заправил: заведывал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы — Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу — вроде как танцует. Читает — поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево — долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение...

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно.

Это было совсем не плохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер — налетел вихрь, и колосья заметались, волнами склонялись чуть не до полу. Надо сознаться: дамы

помирали со смеху. Смех этот, сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетел и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной...» — но дамский смех этот в Кружке даже не смех врагов, и толпа не «холодная», а скорей благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки... — какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздражения, уязвленности скоплялось в том, кого одно время считали «князем Мышкиным».

* * *

В 1906-07 гг. кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-художественная неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался — искреннее увлечение юных лет, правда, некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских — там была строгая дисциплина — он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П.Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов, вне себя, прибежал ко мне.

— Он всех нас позорит, оскорбляет...

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервности и обид-

чивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясниться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие как личные, так и литературные отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В.И.Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он... Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кроме хозяина, Б.А.Грифцов, П.П.Муратов, Ал.Койранский, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно, он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть ли не на дуэль вызывают...

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы

возьмете назад слова о вашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не поддавался ни на шаг. Наконец, Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез.)

И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятья не кинулся. В ту минуту зимнего неверного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившимся над Россией, воплощавшим в себе... не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но вблизи нее он находился. Гораздо позже я узнал, что в 1914 году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).

* * *

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника

Александра II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев — к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация — Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен — мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С.А.Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.

Легко можно себе представить, что такое были разговены в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния — все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились — литературная молодежь того времени. На одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи... Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский — критик, художник, острослов — всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению разговор скаканул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его... Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь — исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут

уже и Койранский и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший —

Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

. . . .

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите,
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь,
Вернусь...

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах — будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят — но пустынность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь.. Все радуются, а я распят...

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

* * *

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению — приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури», это, пожалуй, лучшее, что

он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут...», но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже.)

Дал и романы: «Серебряный голубь» — детская и лубочная вещь, и «Петербург» — безвоздушная фантасмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-художественном кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопил»:

— Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане Кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

— Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил. «Безобразие!» «Еще поэтами называются»...

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый, в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом, Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из Кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого — секунданты не секунданты, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска... (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его как человека.)

— Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный... но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете... сила хаоса, темная сила, вы понимаете... (Белый вскидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде «м-м-м» — будто вот они вокруг, эти силы). Враги воспользовались безобидным Тищенкой... он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный... Тищенко хороший.

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале... поговорили и забыли.

* * *

В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.

Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во «Дворце искусств».

Этот «Дворец» — дом гр.Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников — его избрал главой «Дворца» Луначарский. Во «Дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них — Белый, куда и позвал меня к себе в гости.

Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, о ч е н ь многое в ней принял. В те годы (20-21) всего ближе был к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.

Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона... Раненый князь Андрей в коляске своей... Великая слава России).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами – а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходившей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.

Комната в книгах, рукописях – все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.

...Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию – тут помогала ему и его антропософия.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории поспешно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно – во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел – вообще всегда и м что-то владело, а не о н владел.

Разумеется, понял я четверть, может быть — треть, самое большее. Астролог же и эуритмик вытанцовывал неутомимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного исступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание «м-м-м...» На слушателя это хорошо действует.

– Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор – море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч

погибших, раскулаченных... но мы с Белым в тот вечер искренне думали,что вот уже кончается Голгофа: наверно, потому, что хотели этого. Спираль же украшала желание.

* * *

В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном слове Белому можно было еще сказать:

— Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива...

Много прошло лет, а и сейчас чувствую, что спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:

— И никогда... никому... ни за что не уступит своей свободы.

Говорил я от лица Союза, как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня — в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягался, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.

— Да, скажу, скажу...

В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что, сев в вагон, все сразу же и забыл.

Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.

Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно серое, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где он стал завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего — не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны — был он антропософом и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже

в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:

— Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!

И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил, собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще.)

Его пустили.

На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских» друзьях (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани.

1938-1963

БАЛЬМОНТ

В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее — большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.

* * *

1902 год. В Москве только что основался «Литературный кружок» — клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской. (Позже — роскошный особняк Востриковых, на Большой Дмитровке.)

В то время во главе Кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм). Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих — Бальмонт, Брюсов.

Первая встреча с Бальмонтом именно в этом Кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (d'époque), бородка клинушком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь. («Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...»)

Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову: попробуй противоречить мне!

В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бур-

ного не произошло. «Мы», литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.

Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как солнце», «Только любовь» — Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женой своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высококультурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам, находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов, много переводил: Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его, С.А.Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонтовском языке он назывался «нежный как мимоза Поляков».)

После нежного, как мимоза, Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.

В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей — нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).

Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.

Однажды, изогнув голову по-бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей:

— Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя, в комнату Бориса, по воздуху?

Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после какой-то сердечной ссоры, прямо из окна. Как не раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил несколько припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию.

И семь воздушных ступеней
Моих надежд не оправдали.

Слава Богу, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.

Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верной Матрешей.

Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:

— Вас спрашивають. Энтот рыжий, что у вас читает. Да сегодня строгий какой... Будто и не очень в себе они...

Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного, как мимоза, Полякова.

Был несколько мрачен — Матреша права: «строг». Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.

— Где Вера? Люба Рыбакова?

Тон такой, будто я виноват в чем-то.

— Их нет.

— Вы один едите этот ничтожный суп?

— Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.

Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.

— Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?

Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата...» — нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы.)

Я начал читать — и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же потому, что вообще мало знал французский язык — хотя Верхарна как раз читал.

Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:

— Вы понимаете то, что читаете? Мне кажется, что нет...

Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух — другое дело.

Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.

* * *

Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда перед вечером тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц держался просто — никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго — хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.

Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее в сумерки, пришел он к нам в эту арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку — в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.

Нас было трое, кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я.

Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:

— Я прочту вам нечто из нового моего.

Что именно, какие стихотворения он читал — не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».

На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне

растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.

В конце он вдруг выпрямился, поднял голову, и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):

Я в этот мир пришел,
Чтоб видеть Солнце,
А если Свет погас,
Я буду петь, я буду петь о Солнце
В предсмертный час.

* * *

Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная лента на пенснэ, бархатная куртка — только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerie de Lilas и т.п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний — хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой...» — в альбом от Бальмонта).

На этот раз он победоносно-капризен и властен.

— Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии.

— Но откуда же взять рощи и пальмы, Бальмонт?

Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.

— Мечта поможет нам. За мной!

И подходит к большому, старому обеденному столу:

— Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы.

И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом по-детски. Но «Борис» не пошел.

Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.

Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что *я* не полез в эти рощи, *он* запомнил.

Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне, с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида:

— Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не

пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.

(Он нередко назвал меня поляком, находя нечто польское в облике.)

* * *

Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» Серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью.

Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились — наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бальмонта. Он отошел, и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.

В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, — устроил ему выезд законный — и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахара и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе» — мало ли чем это могло кончиться.

Но, слава Богу, осенним утром в Николо-Песковском (недалеко от нас) мы — несколько литераторов и дам — прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.

Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел — лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст был не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.

Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь перед кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искрен-

ностью и силой покаяния — считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.

Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Казалось бы, Пушкин мало подходил для покаяния, и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакался горько».

Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.

Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.

1963

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.

Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама — его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.

Смущенно и робко приветствую их — как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще все на волоске... Учишься в Университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905-й год!

Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением — «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром — два странных гостя моих сидят в начинающихся сумерках — соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно-торжественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов — сколько угодно. Вячеслав же

Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда свое, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) — вот он-то и оказался праправнуком платоновых диалогов.

У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему, более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс — громовержец и творец, утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи... Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.

Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и возношении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.

Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и, начав с моего Кронида, он прочел нам целую лекцию, да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозиуме этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.

* * *

Жизнь же шла. Это был предвоенный, предгибельный расцвет символизма, импрессионизма — немало до революции было «измов» в литературе, и сама литература кипела. По разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.

Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от

кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю.

Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».

Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи — громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах, изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре — славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин.

Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет «в башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» — этот маг заведывал отделом кухни в Литер. кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», — говорил мне один приятель литературный в Москве.

Слова «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммзена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет, и поэзию, литературу — да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.

Раз, в 1908 г., был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только

что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.

Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть ли не строчка за строчкой — спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею действительно живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уж довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.

Какая там «башня», какой там «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.

* * *

На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими Александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.

Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении, кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.

Как будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».

На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.

Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 г. Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 г. «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.

В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи, и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского университета.

Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в Архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг бывшего Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)

* * *

В 1949 году наш приятель — ныне покойный А.П.Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казанова» — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало, при неблестящем складе быта нашего, соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей простой юной женщиной, сразу подружив-

шейся с моей женой.

Началось наше blitz-tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местном казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.

Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:

— Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.

Он даже рассердился.

— Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день.

Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у Берниниевской колоннады поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.

Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.

Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», — все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.

Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

— Да, да, сил мало. Прежде в университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу... Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора...» — «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме. Нас в Excelsior'е ждет импрессарио». — «Ну, так я вкратце расскажу вам...»

Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с древней Сербией, какой-то король... — но не настаиваю, боюсь ошибиться.

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии — тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же — последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».

Но минуты наши действительно были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.

Автобус мчал нас через Рим. Знакомые места, «там, где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе, — и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казанова с Анитой.

На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно на север.

Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.

1963

БЕРДЯЕВ

Никого нет! Все ушли.
Неизвестный автор

Так давно все это было, а все-таки — было. Петербург начала века, журнал «Вопросы жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков — вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные, — секретарь редакции. Издатель журнала скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.

Мы с женой, наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его — Царство небесное!)

Георгий тогда кипел, действовал, проповедовал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).

Вот в этих «Вопросах жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит красивый человек с темными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и, быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но — странное дело — меня не смущает нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть, считал знаком некой кары.)

Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин — это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно-кипящий. В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл — христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Страным образом, деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы — заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как п и с а т е л ь никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.

В нем была и французская кровь — кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южно-русских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н.А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен.)

* * *

Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен — все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-литературно-художественной.

Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями; картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).

Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна — редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми «уклонами», она ортодоксальнейшая католичка. Облик осо-

бенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: кн.Зинаида Волконская).

Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась, посмотрела на мою жену своими прекрасными, прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала:

— Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!

Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого, и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения верящих в непорочное зачатие.

Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.

Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д.Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.

— Ты с ума сошла, — шептал я жене, — ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича...

Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже ругали его как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Потом свои же его и расстреляли.)

* * *

И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались — и в правлении Союза писателей (не-коммунистического), и в Книжной Лавке Писателей — это была маленькая кооперация, независимая от правительства.

Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.

Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности мало нужные, во всяком случае, не деловые. Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу

кассиршу, она была вроде «Хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!)

Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой Лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.

Кроме нижнего помещения, была у нас и наверху комнатка и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.

Раз рылся я там в чем-то, искал книгу, что ли, вдруг снизу раздался громовой вопль Бердяева. Что такое? Перегнулся через решетку, вижу — Николай Александрович, багровый, кричит неистово на Дживелегова, а тот пятится, что-то бормочет смущенно... Проснулась кровь отцовская. Никаким монахом Дживелегов не был, ненавидеть его совсем не за что, но Бердяеву только недоставало костыля, чтобы получилось «action directe».

Оказалось, «Карпыч» сказал что-то игриво-обидное, но пустяки, конечно. Бердяев же взбеленился. Дживелегов поднялся ко мне на вышку несколько бледный.

— Ну и характерец...

А через четверть часа взошел и Бердяев, уже успокоившийся, смущенный.

— Простите меня, Алексей Карпович, я виноват перед вами..

Это в его духе. Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая.

Он перед этим написал книгу «Философия неравенства», против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком). Она печаталась частью в «Народоправстве», журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-памфлет, написана с такой яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся... Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для европейского средне-левого интеллигента слишком бешеная).

* * *

Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в груп-

пу высланных за границу в 22 году, я с семьей по болезни был выпущен в Берлин, и вот снова мы встретились, но под иным уже небом. Не только что встретились, а целое лето 23-го года прожили в одном доме, в Прерове близ Штральзунда (на Балтийском море). В одном этаже С.Л.Франк с семьей, в другом Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем я с женой и дочерью. Так что над головами у нас гнездились звезды философии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились — не помню уж из-за чего. (Странная вещь: Бердяев вспоминается очень часто веселым!)

Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе (да и наверху, наверное, готовились: всех нас пригласил в Рим читать в Instituto per Europa Orientale проф. Этторе Ло Гатто — каждого по специальности).

Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских: Вышеславцев, Осоргйн, Муратов, Чупров (младший, сын профессора, тоже экономист), Бердяев, Франк, я — каждый выступал перед публикой римской по своей части. (По-французски и по-итальянски.)

* * *

Италия мелькнула перед нами видением, как всегда для меня блаженным, но прочно, «навеки» поглотил нас Париж — почти всех тех участников римских бдений. История, страшные волны ее проносились над нашими головами в Париже. Николай Александрович обосновался в Кламаре, Вышеславцев, Осоргин, я, Муратов — в самом Париже.

Тут видели мы войну, нашествие иноплеменных, поражение сперва одних, потом других, появление советских военных как победителей — все, все, как полагается...

Эмиграция же пережила некое смятение, некие увлечения, несбыточные надежды.

С Бердяевым произошло тоже странное: и немолод он был, и революцию вместе с нами пережил, и «Философию неравенства» написал, и свободу, достоинство и самостоятельность человека высочайше ценил... — и вдруг этот седеющий благородный лев вообразил, что вот теперь-то, после победоносной войны, прежние волки обратятся в овечек. Что общего у Бердяева со Сталиным? А однако в Союзе советских патриотов он

под портретом Сталина читал, в советской парижской газете печатался, эмигрантам брать советские паспорта советовал, вел разные переговоры с Богомоловым — кажется, считался у «них» почти своим.

В Россию, однако, не поехал. Но в доме у него в Кламаре гнездилось чуть ли не все просоветское тогдашнего Парижа.

Да, это были не времена Лавки Писателей в Мосвкве и «одиночества и свободы». Одиночество было у тех, кто не ездил по советским посольствам, но и свобода осталась за ними.

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди туда, куда влечет тебя свободный ум...

Мы с женой не бывали больше у Бердяевых. (Любопытно, что и Лидия Юдифовна никак не уступила: к коммунизму осталась непримиримой. И вот если бы попала в тогдашнюю Россию, вполне могла бы принять венец мученический за непорочное зачатие. Слава Богу, не поехала.)

Здоровье Николая Александровича сдало — последствия давнего диабета.

Наша последняя встреча была грустной. Мы с женой шли по улице Кламара — навстречу похудевший, несколько сгорбленный и совсем не картинно-бурный Бердяев. Увидев нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцова Вражка, Прерова появилось в улыбке. Подошел будто как прежде.

Нет, прежнего не воротишь! Жена холодно, отдаленно подала ему руку — да, это не Москва, не взморье немецкое с пляшущими немцами.

Он понял. Сразу потух... Разговора не вышло никакого. Поздоровались на улице малознакомые люди, побрели каждый в свою сторону. Может быть, тик сильней дергал его губы. Может быть, и еще больше он сгорбился. Может быть, мы могли быть мягче с ним. (Но так кажется издалека! Т о г д а слишком все было остро. Он слишком был с «победителями». Тогда трудно было быть равнодушным.)

* * *

В Россию он не попал. Книги его там под полным запретом. Я думаю! Очень он им подходящ!

1962

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Кажется, в жизни Андреева (писательской, а может быть, и личной) годы 1901-1906 были самыми полными, радостными, бодрыми. Все его существо летело тогда вперед; он полон был сил, писал рьяно; несмотря на самые мрачные «Бездны», на «Василия Фивейского» — полон был надежд, успехов, и безжалостная жизнь не надломила его. Он только что женился на А.М.Вильегорской, нежной и тихой девушке. Светлая рука чувствовалась над ним. На его бурную, страстную натуру, очень некрепкую, это влияние ложилось умеряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимиро-Долгоруковской, где мы познакомились. Квартиры становились лучше; появился достаток. Часто люди бывали, чтения. В те времена процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н.Д.Телешова, у С.С.Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Разумовский и др. Из заезжих: Чехов, Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше. Он читал сдержанно, несколько одноообразно, иногда поправляя густые волосы, свешивающиеся на лоб; в левой руке папироса; иногда помахивал ею в такт, и из-под опущенного лба вдруг быстро взглядывал горячими своими глазами.

Меня, наверное, он гипнотизировал. Мне все нравилось, и безраздельно, в нем и его писании. В спорах о прочитанном я всегда был на его стороне. Впрочем, и вообще он имел тогда большой успех, очень всех возбуждал, хотя образ его писаний мало подходил к складу слушателей. Но на «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности,

несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на «ты» (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили, и в, конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная, и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела. Знаю, что и Андреев любил ее. А судьба решила, чтобы из членов ее он ушел первый — один из самых младших.

Иногда я ходил к нему по утрам — это значит, о чем-нибудь хотелось говорить; как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич — бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с превеликим дружелюбием. Может быть, и нехорошо было идти к человеку утром; может быть, и необязательно разговаривать так много; все же вспоминаешь с удовольствием об этих утренних русских разговорах где-нибудь на Пресне, при белом снеге с улицы, деревцах вдоль тротуаров, низком лёте ворон с веток на крышу дома. Говорили о Боге, смерти, литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. Говорил он неплохо. Но имел привычку злоупотреблять сравнениями и любил острить. Юмор его был какой-то странный: и была в нем эта жилка, и чего-то не хватало. И во всяком случае, в его *писании* юмор несвободен. Он не радует.

В три Андреев обедал, а потом ложился спать, черта не европейская, как и во всем, он был весьма далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди «передовых» писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать *буржуазность*.) Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накаливалась, и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным; в молодости, впрочем, он вообще пил; и, как рассказывал, наибольшая радость в том заключалась, что уходил мир обычный. Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность. Студентом, после по-

пойки, в целой компании друзей, таких же фантасмагористов, он уехал раз, без гроша денег, в Петербург; там прожили они, в таком же трансе, целую неделю; собирались даже чуть не вокруг света.

Неудивительно, что писания утреннего, трезвого, как и вообще дисциплины, он не выносил. Ночь, чай, папиросы — это осталось у него, кажется, на всю жизнь. Иногда он дописывался до галлюцинаций. Помню его рассказ, что когда он писал «Красный смех» и поворачивал голову к двери, там мелькало нечто, как бы уносящийся шлейф женского платья. Бредовое писание не было для него выдумкою или модой: такова вся его натура. Его развязанное подсознание всегда стремилось в ночь, таков его характер; но устремление это было подлинное, и его не без основания ставили рядом с Эдгаром По, которого он знал, любил. Он нравился ему за то, что говорил о Ночи.

Андреев сам чувствовал Мировую Ночь и ее выразил — писанием своим.

Но не надо думать, что эта Ночь им вполне владела. Я уже говорил, что был в Андрееве мягкий орловец, он любил теплый домашний быт, никогда в нем не умирала жилка московского студента легендарных времен; он любил русское, нашу природу, пруды и влажные, благоуханные вечера после дождя в Царицыне (под Москвою, где он жил летом), белые березки и поля Бутова; любил закаты с розовыми облаками; да и в писании его кое-где, например, в «Жили-были», есть и свет, и цветущие яблони, и славный дьякон. Я вспоминаю о нем часто и охотно так: мы идем где-нибудь в белеющем березовом лесочке в Бутове. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы. Привязанная корова пасется у забора; закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд в белых или розовеющих клубах. С полей веет простором и приветом родной России. Мы же идем легко, быстро и говорим взволнованно. Вот он меня провожает на платформе — в своей широкополой, артистической шляпе, в какой-нибудь синей рубашке, с летящим галстуком, с возбужденными, черно-блистающими глазами. Это оживление и возбуждение так молодит! И так хороша молодость пылкими разговорами, одушевлением, легкой влюбленностью. Поезд, зарей вечерней, летит в Москву; смотришь в окно, вновь переживаешь пережитое и до́ма, возвратясь, заснешь не сразу.

При мне Ночь, которую так чувствовал Андреев (и оттого на Бога восставал, много шумел), — эта Ночь впервые на него дохнула. В 1906 году умерла его жена, от родов, в Берлине.

Мы хоронили ее в Москве, на Новодевичьем, при жестокой стуже. Андреев же остался за границей. Из Германии попал на Капри. Жил там тяжко, бурно. Вот отрывок из его письма, 9 января 1907 г.: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое. И если бы все люди, немногие, кого я люблю, вдруг умерли бы, или забыли меня — я оглянулся и завыл бы от ужаса и одиночества». Далее говорит, что хорошо, если бы мы с женой приехали туда, и прибавляет вновь: «Здорово я тут один, несмотря на Горького. С вами бы я мог говорить о смерти Шуры, постараться понять ее».

Мне и пришлось встретиться с ним в Италии, в мае того же года; но говорить о том, о чем он писал, не случилось. Перебирая его письма, я наткнулся на открытку во Флоренцию: «Еду из Неаполя в Берлин безостановочно, так что во Флоренции можем увидаться только на минутку на вокзале... Пожалуйста, приходи с Верой хоть на минутку!» Это «хоть на минутку!» и сейчас колет сердце: вот и не увидишь его больше, даже «на минутку!»

Мы с женой в светлый, жаркий флорентийский вечер вышли встретить его, принесли букет роз красных (ими полна благословенная Флоренция). В грохоте, с пылью, влетел на скромный вокзал международный экспресс, из первого класса выскочил тот же Андреев, в широкополой шляпе, с летящим галстуком, в артистической бархатной куртке, как знавал я его в Бутове, в Москве. Как и тогда, он ни слова не знал «по-заграничному»; в купе оказалась матушка его — ни себе, ни ей за весь день он не мог достать стакана чая. Матушка охала. Сам он задыхался от жары в бархате своем, но глаза его так же блестели, как и в былые годы. Он нюхал наши розы; говорили мы быстро, бестолково, ибо некогда было, и через несколько минут он махал нам букетом из окна поезда уходящего. На мгновение я его увидел, и снова забурлил и загромыхал европейский экспресс, унося людей московско-орловских. А сейчас, вспоминая те семнадцать лет, что знал Андреева, я чувствую, что рядом с бесконечностью, нас разлучившею, те года, куда легла чуть ли не вся его художническая жизнь, — не длинней краткой минутки на вокзале во Флоренции, в знойный, чудесный итальянский вечер.

С этого года Андреев переехал в Петербург. Может быть, тяжело ему было заводить в Москве прочную, оседлую жизнь. Его душевное настроение было бурно-мрачное, с какими-то

срывами. Перегорало горе, разъедало. Но натура живая, страстная гнала вперед. Он никак еще не знал, что сделать, как наладиться. «Опять с некоторого времени, — пишет он от 17 августа 1907 г., — день мой, каждый мой день и каждая ночь — до краев налиты тоской. Что делать, я не знаю, ибо убивать себя не хочу, в сумасшедший дом тоже не хочу, а жизнь не выходит, а тоска, поистине, невыносимая. И все о том же, о той же Шуре, о ее смерти. Отпустила было не на долгое время, а теперь снова гвоздят одни и те же мысли и сны. Сны! Ужасная, брат, вещь, эти сны — в которых она воскресает и всю ночь поит меня дикой радостью, а на утро уходит».

В Москву он наезжал довольно часто. Нередко останавливался в «Лоскутной», вблизи Иверской и Исторического музея. Живший там П.Д.Боборыкин не без ужаса рассказывал: «Представьте, я встаю в шесть утра, к девяти поработал уже; а он в девять только возвращается». Петр Дмитрич, никогда за полночь не ложившийся, пивший минеральные воды, носивший ослепительные воротнички — и наш Леонид Андреев... О, Русь!

В это время помню я Андреева всегда на людях, в сутолоке, с интервьюерами, в угаре. Это был год, когда впервые он вступил на путь театра — путь, давший ему славу еще шумнейшую, но и тернии очень острые. «Жизнь человека» была первая его символическая трагедия, в чертах схематически-условных обнимавшая жизненный путь и судьбу «человека вообще». Это вещь роковая для него. Можно ее любить или не любить; но с душевной, и писательской, и человеческой судьбой Андреева связана она неразрывно. В ней кончился один период, начался другой. Кончилась молодость Андреева, возросла схема, патетизм, и яснее обозначился надлом в душе его. В ней есть и нечто пророческое о самой жизни автора — если пророчественность понимать широко. Умер Леонид Андреев не так, как погибает Человек, и в бедность не впал, но некоторый наклон жизни своей почувствовал.

«Жизнь человека» имела крупный успех — в Москве в Художественном, в Петербурге у Мейерхольда. Андреев более и больше увлекался театром. И более и больше укреплялся в Петербурге. Стал очень близок сильно успевавшему издательству «Шиповник», в альманахах издательства слыл гвоздем. «Шиповник» же издавал его книги. К нам, к «Москве», он питал чувства дружественные по-прежнему; когда бывал, сам читал свои пьесы или присылал читать рукописи на «Средах». Но находил, что Москва это «милая провинция», благодушная и теплая.

Ему казалось в Петербурге прохладней и построже. Ему казалось, что воздух Севера, воды Финляндии, ее леса и сумрак ему ближе, чем березки Бутова. Верно, что в «Жизни человека» не было уж места для березок. Все-таки обращать Андреева, русака, бывшего московского студента, в мрачного отвлеченного философа, решающего судьбы мира в шхерах Финляндии с помощью Мейерхольда, было жаль. Никто не вправе сказать, каким должен был быть путь его. Ему виднее было самому. Но можно, кажется, заметить, что его натура не укладывалась вся в Финляндию и Мейерхольда.

С весны 1908 г. он поселился на своей даче у Райволы, на Черной Речке. Эта дача очень выражала новый его курс; и шла, и не шла к нему. Когда впервые подъезжал я к ней летом, вечером, она напомнила мне фабрику: трубы, крыши огромные, несуразная громоздкость. В ней жил все тот же черноволосый, с блестящими глазами, в бархатной куртке, Леонид Андреев, но уже начавший жизнь иную: он женился на А.И.Денисевич, заводился новым очагом, был полон новых планов, более грандиозных, чем ранее, и душа его была смятена славой, богатством, жаждой допить до конца кубок жизни — кубок, казавшийся теперь неосушимым. Обстановка для писателя (в России) — пышная. Дача построена и отделана в стиле северного модерна, с крутою крышей с балками под потолком, с мебелью по рисункам немецких выставок.

Мы много говорили, очень дружественно, мне хорошо было с Андреевым, но жилище его говорило о нецельности, о том, что стиль все-таки не найден. К стилю не шла матушка из Орла, Настасья Николаевна, с московско-орловским говором; не шли вечные самовары, кипевшие с утра до вечера, чуть не всю ночь; запах щей, бесконечные папиросы, нервность, мягкая развалистая походка хозяина, добрый взгляд его глаз, многие мелочи. Правда, стремление к грандиозу находило некое применение: нравилось смотреть с башни в морской бинокль на Финский залив, наблюдать ночью звезды. Но как раз рано утром следующего дня, проснувшись в боковой комнате для гостей, не совсем еще отделанной, я услыхал, как двое маляров, снаружи малевавших на подмостках, напевали неторопливо простую, славную нашу песню. Вот в ней — земля Москвы, березки Бутова, поля Орла. И нет Финляндии. Нет майоликовых отделок, матовых кубов, нет модерна. Нет и «Жизни человека».

На этой новой даче написал Андреев: «Царь Голод», «Черные маски», «Анатэму», «Океан» и другое. Хорошо было уда-

литься из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица перекочевала к нему в самом суетном и жалком облике; взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму и обманывала. Кто не любит обольщения и успеха? Андреев жадно его вкусил и не мог уже забыть; не мог уже жить, чтобы о нем не писали, не шумели, не хвалили. Не знаю даже, мог ли он теперь писать лишь для себя, вне публики. Он ненавидел публику и поклонялся ей. Он презирал газетчиков, освободиться же от них не мог. Для славы нужны были журналисты, налетавшие роями, которым он рассказывал о своей жизни, замыслах, писаниях; сердился, что рассказывает, а назавтра вновь рассказывал. Они печатали нелепые интервью, раздражавшие друзей Андреева, а врагам дававшие материал для издевательств. Вся эта чушь газетная, в море вырезок с отчетами о пьесах, отзывами, критиками, бранью, клеветой, заметками, каждый день притекала к нему и одурманивала душу. Вряд ли чувствовал он себя хорошо. Тем более, что все настойчивее в критике твердили о упадке его дарования.

За всей этой горькой мишурой у него был и свой мир. Вот что говорит он в письмах этого периода о второй действительности. «С каждым уходящим годом я все равнодушней к первой действительности, ибо в ней только я раб, муж и отец, головные боли и с прискорбием извещаем. Сама природа — все эти моря, облака и запахи я должен приспособить для приема внутрь, а в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми: они становятся интересны для меня с того момента, как о них начинает писаться история, то есть ложь, то есть все та же наша единственная правда. Я не делаю из этого теории, но для меня воображаемое всегда было выше сущего, и самую сильную любовь я испытал во сне. Поэтому я, пока не сделался писателем и не освободил в себе способности воображения, так любил пьянство и его чудесные и страшные сны».

Флобер, столь бесконечно далекий от Андреева, говорил где-то в письме: «La vie n'est supportable qu'en travaillant», и правда, одурманивал себя работой. Для Андреева как писателя настоящего смысл этих лет, годов зрелости, также, видимо, сводился к работе, как наркозу, уводящему от скучной действительности. «Сколько скучных дней и просто неинтересных людей в первой действительности! А в моей все дни интересны, даже дождливые, и все люди интересны, даже самые глупые. Сейчас за окнами моросит, просто моросит, и нет ничего, кроме

просто мокрой Финляндии и озноба в спине, — а начни описывать, и получится интересно, явится настроение; и чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды. Ибо само слово принадлежит ко второй действительности, само по себе оно картина, рассказ, сочинение».

Впрочем, он оговаривается: не вся действительность презренна.

«...Не скажу даже, чтобы я был прав, так настоятельно и убежденно предпочитая воображаемое сущему, и если устроить между ними состязание, то **окончательная, последняя** красота будет на стороне последнего. Но такая красота — моменты, далеко разбросанные в пространстве и времени. Не только собрать, а можно прожить всю жизнь и ни одного не встретить. Немало на свете красивых людей, а расстояние между ними — словно между звездами; и один еще не родился, а другой давно умер. Пусть даже живет, но или он далеко бесконечно, либо говорит на другом языке, либо я совсем не знаю о его существовании. Ведь все эти, кого мы любим и считаем настоящими друзьями — Данте, Иисус, Достоевский, существуют только в воображении нашем, во второй действительности, во сне».

В первой же действительности, несмотря на славу, деньги, шум и суету вокруг, вряд ли Андреев чувствовал себя теперь хорошо. Он не производил такого впечатления. Во всяком случае, видимо, становится он одиноче. О дружбе, «о мужской, крепкой, глубокой, серьезной дружбе» он говорит теперь с горечью. («Как странно звучит слово „дружба" — ты помнишь, что оно означает? Я забыл». 8 июля 1909 года.) И еще: «...Заметил ли ты... что дружба ранняя ягода и приходит прежде других? Любовь, как тень, сопровождает, пока есть свет, а для новой дружбы положен ранний предел. И если не захватил друга из юности, то нового не жди; да и старого-то не удержишь. И не случайность для меня, что кончилась моя дружба с Горьким — все писатели дружат в юности, а со зрелостью приходит к ним неизбежное одиночество. Так оно и надо, пожалуй» (23 июня 1911).

Кажется, за эти годы Леонид Андреев и действительно новых друзей не приобрел, а от старых отдалился, находясь в Финляндии. Кажется, жизнь его там ограничивалась кругом (важнейшим, разумеется) — семьи. В Москве он появлялся редко. В Петербурге литературных связей и всегда у него было мало; а в литературе критической к нему относились теперь дурно.

Вообще же в его литературной судьбе много **русского**: безудержное возношенье, столь же беспощадная брань. Ни шум, ни гонорары, ни интервью не могли скрыть резкого охлаждения к нему публики. Та исключительность его, что раньше восторгала, теперь сердила. Чем громче он старался говорить, тем раздраженней слушали. И за короткий срок своих удач и поражений мог бы вспомнить покойный слова Марка Аврелия: «Судьба загадочна, слава недостоверна». Или же обратиться к собственной «Жизни человека».

За это время мало приходилось его видеть. Доходили временами письма, но все реже. Я знал, что он обрился, что завел лодку моторную и скитается по шхерам. Мореходские инстинкты пробудились в нем внезапно; нравились брызги, пена, шум ветра, одиночество. Быть может, нечто байроническое мерещилось ему в этих одиноких блужданиях. Вызов жизни, людям, гордость, честолюбие надломленное.

Я видел его в последний раз в Москве, осенью 1915 года. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли она удача; вряд ли совершенна, как и вообще мало совершенного оставил Леонид Андреев. Хаос, торопливость и несдержанная пылкость слишком видны в его писании. Но как и во всем главнейшем, что он написал, есть в этой пьесе андреевское, очень скорбное, сплошь облитое ядом горечи...

Тяжкая душа, израненная и больная, мне почувствовалась и в самом авторе. Это иной был Андреев; не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили в Бутове. Надлом, усталость, тяжко бьющееся сердце, тягостная раздраженность. И лишь глаза блестели иногда по-прежнему.

— Пьесу испортили, — говорил он. — Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри, — он указывал на ворох вырезок, — как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них — лягаться.

Он уехал в Петербург смутный и подавленный, хоть иногда и много смеялся и острил. Мы же, прощавшиеся с ним тогда в Москве, его немногие друзья, вряд ли угадывали будущее, вряд ли и думали, что живого, настоящего Андреева, в бархатной куртке и с черными глазами, не «сон» и не «мечту» второй действительности — нам уже не увидеть.

И мне трудно говорить об этих заключительных годах земного странствия Андреева.

Знаю только одно: с октября 1917 г. он не возвращался даже в Петербург, жил в Финляндии. Революция задела его чрез-

вычайно. Он ее проклял. Пережить ее ему не удалось. Он скончался в сентябре 1919 г. от припадка сердца — сердце у него всегда было больное и нервное.

Когда мысленно вызываю я образ Андреева, он представляется мне молодым, чернокудрым, с остроблистающими, яркими глазами, каким был в годы Грузин, Пресни, Царицына. Он лихорадочно говорит, курит, стакан за стаканом пьет чай где-нибудь на террасе дачи, среди вечереющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая, большеглазая невеста в темном платье, с золотой цепочкой на шее. Молодая любовь, сиянье глаз девических, расцвет их жизни.

И наверно я не могу говорить с холодностью и объективностью об Андрееве, ибо молодая в него влюбленность на всю жизнь бросила свой отсвет, ибо для меня Андреев ведь не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, милый призрак, первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается. И да будут эти строки, сколь бы бедны они ни были, дальним приветом чужестранной могиле твоей, Леонид.

МОЛОДОСТЬ — ИВАН БУНИН

Можно ошибиться в годе, когда встретились. Но не ошибешься в том, что была зима. Неопалимовский переулок, звезды на ночном небе, огненно-сухая снежная пыль из-под копыт «резвого». Яркий свет, тепло, запах шуб в передней профессора Р. Хозяин, нестарый еще психиатр с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояля, громко и смело:

— Целовался крепко... да-а... с твоей женой! — (Схватывая себя при этом за кок на лбу).

В столовой молодежь — не то художники, не то студенты, не то поэты, не весьма основательные дамы, и с черными кудельками, карими чудесными глазами сама хозяйка, Любочка Р. Все эти Зиночки, Лены, Васеньки — ее приятели. У Любы тяготение к модерну. У нее встретишь и Бальмонта, и Балтрушайтиса. Она читает «Симфонии» Андрея Белого. И ее брат, Георгий, только что вернувшийся из Сибири, вскоре разовьет свой «мистический анархизм».

Психиатр занимался циркулярным психозом, ездил в клиники на Девичьем Поле, на дому лечил гипнозом (больше пьяниц). Принимал у себя молодежь. Относился к читателям «Симфоний» с благодушной снисходительностью, частью как к пациентам. Но задавала тон Люба — ласковостью, веселием, оживлением. Весь этот круг литературно-артистический носил оттенок легкой беззаботной художнической богемы.

Так же шумели, хохотали и танцевали в промежутках между пением и в тот вечер, когда в столовой, под рулады баритона из гостиной, впервые увидел я Бунина. Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, в треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы — тогда русо-каштановой, — изящный, суховатый, худощавый. Ласково блестя на него глазами, встря-

хивая черными завитками волос, улыбалась из-за самовара Любочка.

Пение оборвалось, раздались аплодисменты. Психиатр быстро вошел в столовую, оглядел всех победоносно. Налил стакан воды из стеклянного кувшина, залпом выпил, надышав туда. Поправил шевелюру и, сверкнув мужицкими своими глазками, весело спросил:

— Ну, как?

Это относилось к пению. Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук и на лакированных ботинках последовал в кабинет, где какой-нибудь Васенька выяснял отношения с какой-нибудь Зиночкой.

Этот свет и тепло квартиры, белизна скатерти, любины кудряшки, молодое оживление вокруг, остроугольный, элегантный Бунин — так и смешались в памяти с морозной ночью и звездами над Москвой — в ощущении остро-поэтическом.

* * *

Встретились мы будто случайно. Но принадлежа к одному кругу, занимаясь одним делом, не могли и далее не встречаться. Виделись у Леонида Андреева, Телешова, Сергея Глаголя. А там Литературный кружок, ресторан «Прага»...

Пестрой и шумной, легкой и радостной кажется теперь жизнь тогдашней Москвы. Может быть, просто молодость? Необычайное по силе чувство жизни?

Но — и само время: какое привольное, сколь подходящее для артистического! Какой интерес к литературе! Сколько молодых дарований... Сколько споров, волнений, чтений, удач и неудач, изящных женских лиц, зимних санок, блеска ресторанов, поздних возвращений...

Иван Алексеевич жил тогда по гостиницам: в номерах «Столица», на Арбате (рядом с «Прагой»), позже в «Лоскутной» и «Большом Московском».

Оседлости не любил Бунин — нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то в Крыму — или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!

Живя в Москве, бывал и у нас, по разным Остоженкам, Спиридоновкам, Богословским и Благовещенским. Под знаком поэзии и литературы входил в мою жизнь: с этой стороны и остался в памяти. Всегда в нем было обаяние художника — не могло это не действовать. Он был старше, опытнее и сильнее. Я не-

сколько его боялся, и по самолюбию юношескому ревниво себя оберегал. Мы говорили очень много — о стихах, литературе, модернизме. Много спорили — с упорством и горячностью, каждый отстаивал свое — в глубине же, подспудно, любили почти одно и то же. Но он уже сложился, я лишь слагался.

На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.

Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иногда фразы застревали в горле.

Раз, выехав вечером из Москвы в Петербург, — Иван Алексеевич, я и жена моя — занимались мы в вагоне, часов в десять вечера, чтением вслух: он читал стихи, я рассказ (вез его в «Шиповник»). Именно там, с глазу на глаз, в купе второго класса Николаевской дороги, при смутном свете свечи, сильно мигавшей, неповторимом запахе русского вагона, неповторимо-плавном ходе поезда Империи и ощущал я давление в горле — на сомнительных словесных виражах. Поезд неукоснительно-покойно шел зимними нашими полями. Тепло струилось по коридору, занавеска на фонарике покачивалась — полные своих планов, стремлений и чувств, мы летели к туманному Петербургу.

* * *

— Почему вы грустны? Почему сегодня такой молчаливый? — спрашивал меня иногда на «Средах» Бунин.

В молодости грусть и замкнутость — не проявление ли сил еще бродящих, неуверенных? Робости, гордости?

Во всяком случае, простые слова старшего, взгляд сочувственный — как-то оживляли. И хотя отвечал я не весьма складно и продолжал молчать, все же это облегчало, и вот з а п о м н и л о с ь. Значит, было на пользу.

В один апрельский вечер «Среда» собралась у Сергея Глаголя в Хамовниках.

Кто тогда читал, я не помню. Но в этой самой квартире, где из окна видна была каланча, а в комнатах — смесь акушерства с литературой и этюдами Левитана, и подарил мне в тот вечер Иван Алексеевич только что вышедшую книгу: «Песнь о Гайа-

вате» в своем переводе.

Мы всегда ужинали после чтения, засиживались поздно. Извозчики громыхали, развозя по Москве полусонной — кого в «Лоскутную», кого на Чистые Пруды. А кто и пешком брел. Я именно так и мерил пространство к Молчановке, там в доме Сусоколова, в деревянном особняке снимал антресольную комнату за пятнадцать рублей — с лежанкою, тополем за окном, выходившим на переулок Годеинский, где за углом, на Арбате, и жил Бунин в «Столице». Отсюда ходил я в Спасо-Песковский к будущей своей жене, сюда, по скрипучей лестнице, забегала и она.

Теплое было утро, влажное, тихое... — с каплями росы, благоухающими почками тополевыми. Может быть, слегка даже дождик накрапывал? Шел третий час, четвертый. Помню, сидел у окна раскрытого и читал эту «Гайавату», и мечтал о чем-то, восхищенный, взволнованный. И совсем стало светло... — а еще что?

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Только и всего. Поэзия была. И что-то от нее произрастало в сердце.

* * *

В доме Армянских, кораблем воздымавшемся на углу Спиридоновки и Гранатного, позже мы жили. Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко от нас дом Рябушинского, с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался — белая, огромно-плавная, с куполом-небосводом.

В доме Армянских много у нас уже бывало народу, во главе с тою же Любочкой Р., и профессор заглядывал, и Бальмонт, Сологуб, Городецкий, Чулков, Андрей Белый... — и все Зиночки, Васеньки, Машеньки прежних времен. И Муратов, и Стражев, Койранский, Высоцкий — сверстники и сотоварищи писания. Иногда спал на турецком диване З.И.Гржебин, «Шиповник», мой первый издатель, приезжавший из Петербурга. Как «не-ариец» не имел в Москве права жительства — и останавливался у нас.

И, конечно, бывал здесь Иван Алексеевич Бунин.

Дух был богемский и бестолковый. Путано, шумно, нехозяйственно — но весело. И весьма молодо. В сущности, то же,

что и у Любочки Р., только без пения и циркулярного психоза. И с преобладанием литературы, еще большим на ней ударением. Очень много читали здесь вслух — и я сам, и другие. И Белый, и Бунин. Старше нас, но отчасти меж Зиночек, Любочек, Диесперовых и Грифцовых молодея, читал Бунин стихи... Вновь нас обольщал. «Острый Сириус блистал», олень мчался средь чащу зимнюю, в лунную ночь волки брели по снегам к гумну. Или:

Старых предков я наследью чую,
Зверем в поле осенью ночую.
На заре добычу жду. Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я смело в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна.

Силы жизни, жажды жизни много в нем было в те годы.

На одном сборище таком встретил он у нас тихую барышню с леонардовскими глазами, из старинной дворянской семьи... Вера Николаевна Муромцева жила у родителей в Скатерном, училась на курсах, вела жизнь степенную и просвещенную. С женой моей была в давнишних добрых отношениях.

Тот вечер закончился частью в Литературном кружке, частью в Большом Московском — очень поздно, и вряд ли мог кто-нибудь тогда подумать, что недалеко то время, когда обратится Вера Николаевна Муромцева в Веру Николаевну Бунину.

Но это именно и случилось. И весной следующего года уехали они в дальнее путешествие.

* * *

Помню чтение «Астмы» в доме Муромцевых, в комнате Бунина с гильзами, табаком — комнате как бы помещичьего дома (только ружей на стене не хватало, да лягавой собаки). «Деревню» читал автор несколько вечеров, в столовой, под висячей лампой, тоже по-деревенски. Слушали: брат Юлий, Телешов, покойный Грузинский да мы с женой. Это было уже другое — новая полоса в писании его, да и в жизни иное пришло. Он креп, рос, временно отходил от лиризма более молодых лет. Через два-три года выбрали его в Академию, по разряду изящной словесности, и мы бурно отпраздновали это событие в московской «Праге». Несколько позже — 25-летний его юбилей, тоже очень торжественно, на всю Москву, чуть ли не на целую неделю. Это значит уже «маститый», академик.

Жизни же наши шли как кому полагалось. Вместе приближались мы к рубежу, в грохоте и огне которого погибло все прежнее — кроме таинственных следов в памяти и душе. К ним и обращаешься теперь, как бы из другого мира.

(Из книги «Москва»)

БУНИН УВЕНЧАН

«Русскому писателю Ивану Бунину присуждена премия Нобеля по литературе» — две строки телеграммы из Стокгольма. Что это значит?

Давно уже сложилось среди русских мнение о первенстве этого писателя. Сила изобразительности, сила слова, подлинность художества и поэзии — река, истекающая из океана — России, давно русскими вознесена. **Первоклассная литература**, строгая и крепкая, настоенная Родиной, на Родине в молодые годы возросшая, в изгнании окрепшая и закалившаяся. Приобретшая долгим одиноким художническим трудом последний закал, высшую — в простоте и силе чувства форму. Путь многолетний: сначала в России 90-х годов, народнической и интеллигентской, потом в России нового века — путаной, мощной, среди пестрых и острых литературных течений, нередко враждебных. Путь всегда прямой и независимый. Нельзя сказать, чтобы когда-нибудь клонил наш лауреат главу «к ногам народного кумира». Нет, просто шел и рос, как положил ему Господь. И вырос, и дожил до величайшего разгрома Родины. (Предчувствовал его: какой тоской, щемящей страстью переполнены его стихи 1916 года! Одно из них надо признать и просто гениальным по проникновению в трагедию России.)

Изгнание. Жизнь на чужбине. С удивительной силой переживание России — появление лучших созданий — после «Господина из Сан-Франциско» (еще до революции написанного) — «Митина любовь» и, наконец, «Жизнь Арсеньева» (не считая мелких шедевров).

Все это мы давно знаем. Знают и в Европе те, кто русскую литературу любит, ценит. Книги Бунина давно переведены и переводятся.

Но в шумном мире слишком много книг. И слишком много равнодушия. Чтобы пробить его, нужен удар. Этот удар при-

шел. Пришел он в виде лаврового венка из северного Стокгольма. На весь мир сказано слово, которого давно ждали русские.

— Увенчан!

Это и есть те две строки. Русский писатель Иван Бунин увенчан как первый, и в нем увенчана литература наша, и Россия, наконец, после тридцатилетнего молчания!

Еще удивительнее, и для нашего эмигрантского сердца особенно опьянительно: увенчан русский **эмигрант**. «Никогда эмигранту не дадут премии» — сколько раз приходилось слышать эту фразу, и у кого не возникло мысли: ну, а как и правда, **не** дадут за **то**, что эмигрант?

Слишком привыкли мы к снисходительному, пренебрежительному отношению. Слишком много наболело. Слишком бедны, бесправны, иногда едва **терпимы** мы. Какая сила за нами?

В этой прекрасной победе самое, может быть, острое, ценное и волнующее: редкий, редчайший в жизни случай победы **духовного** — бескорыстного **добра**. Беспристрастное некое судилище увенчало гонимого и беззаступного... «Безродинный» Иван Бунин несет ныне тяжесть лавров России — Родины, его родившей, в бедствиях неслыханных сейчас изнемогающей...

Это, конечно, праздник. Настоящий наш русский, **первый** после стольких лет унижений и бед. «Две строки» перерастают литературу, они входят в жизнь, озаряя ее, внося бодрость и веру. Не все еще в мире продажно! Еще есть справедливость. Не забыта Россия.

С глубоким и радостным волнением мы приносим сегодняшнему победителю привет — поздравление — можно даже сказать: восторг.

1933

БУНИН

(Речь на чествовании писателя 26 ноября 1933 г.)

...Девяностые годы прошлого века, вот литературное начало Бунина. Время, когда господствовало чистое интеллигентство типа «Русского богатства» и появлялся символизм.

Бунин писал тогда стихи и маленькие рассказы. Для толстых журналов лирические и поэтические очерки его, особенно же стихи, не были достаточно «идейными». Он считался «эстетом». Его ценили и печатали, но он не был «свой».

Не свой оказался и у только что явившихся символистов. Для этих слишком он реалист, слишком любит видимость, жизнь, воздух, краски. Он был сам по себе.

Двух станов не боец,
Но только гость случайный.

Так вступил Бунин на одинокий путь свой, иногда трудный и неблагодарный, но всегда воспитывающий: требующий выдержки, твердости, веры.

Литературное развитие его шло медленно — подобно росту органическому. Цветение, завязь, плод. Как у всякого истинного художника, это совершалось в глуби — и в молчании.

Наступил новый век, в нем шумели Горький, Андреев, сборники «Знания», «Шиповник», символисты, «сексуалисты» (Арцыбашев и др.) — много было оживления и даже как бы кипения в литературной жизни России предвоенной: Бунин занимался не шумом, а искусством. Вес его креп не от погони за модой, а от внутреннего созревания и совершенствования артистического.

Бессюжетный лирический рассказ типа «Тишины», «Надежды», очаровательного «У моря» — с ясным и чистым рисунком, в изящной, но еще с оттенком женственности манере, сменя-

ется «Астмой» и «Суходолом», в особенности же «Деревней» — первой большой и очень «солоно» написанною вещью.

Тут задача чисто изобразительная, описательная — раздолье для бунинского глаза, памяти, раздолье и для языковой щедрости. «Деревня» очень горькое и очень смелое произведение. Горька она сумрачным подходом к России, тяжким, почти беспросветным ее изображением. Говорят, Толстой в конце жизни очень тосковал, что народ «испортился». Похоже на правду! Народных фигур «Войны и мира», «Записок охотника» или лесковской галереи — в начале нашего века что-то не видать. Может быть, и сохранились Платоны Каратаевы, Лукерьи из «Живых мощей», Несмертельные Голованы — но уже где-то в подполье. Никак не они задавали тон жизни, подготовлявшей русскую трагедию. Народолюбческое же настроение и некоторая идеализация крестьянства удержались еще в просвещенном русском слое ко времени появления «Деревни».

Бунин не побоялся сказать горькую правду о деревне — ни с кем и ни с чем не считался, кроме *своего* глаза и *своего* понимания. «Так вижу, так изображаю». (В этом верный ученик Толстого.)

Он подвергся известным упрекам за «односторонность» — и прошел мимо них.

Но в «Деревне» смелость состояла не в одном этом. Смелость художника заключалась в том, чтобы и в самом строении вещи не считаться с читателем, не играть на внешней занимательности, слагать пласты повествовательные и описательные так, как это самому нравится, за легким успехом не гоняясь.

В своей прямоте и мужественности Бунин лишь выиграл. Победа оказалась медленной, но основательной. «Деревня», первая крупная вещь писателя полосы начинавшейся зрелости, прочно осела в литературе — осталась. (А сколько мы видали других побед, блестящих и дешевых, с тою же легкостью, как и пришли — ушедших!)

* * *

«Деревня» написана около 1910 года. Время отсюда до революции — первая полоса шедевров Бунина. За эти годы он много странствовал. Побывал в Константинополе и Палестине, Египте, Индии, не говоря уж о Европе. (Был в Италии, живал на Капри.) Мир очень раздвигался. И теперь это уж именно **мир**, а не только елецкое или воронежское, московское. «Господин из Сан-Франциско» живет не на Арбате. Небольшой

рассказ вместил большую тему, вылился суровой и прекрасно-музыкальной прозой. Эта удача бурного и шумного характера. Успех «Господина из Сан-Франциско» был огромный. Более в стороне сдержанно-спиритуальные «Сны Чанга». Удивительны «Братья» и «Воды многие» — морской дневник, где чрезвычайной силы и значительности достигает слово, зрительная изобразительность доведена до предела: читатель почти галлюцинирует. (Замечательна любовь «сухопутного» и степного даже Бунина к морю и особенная его удача при изображении моря.)

«Господин из Сан-Франциско» давно и по достоинству прославлен. Менее знали и ценили стихи Бунина, в сущности недооцененные и поныне. Думаю, причина та, что стихи эти расходились особенно по духу с господствовавшим направлением и жизнеощущением в стихотворчестве русском: с символизмом и его производными.

Действительно, Блок и Бунин — два мира, плохо уживающиеся. В одном смутная и туманная пена неких душевных состояний, музыка, неопределенный, иногда обольстительный, иногда ядовитый хмель. В другом крепость, пластика, изобразительность. Элемент музыки второстепенен. Но огромно дыхание, простор, воздух... Слово всегда точно, сдержанно и безошибочно.

Наивысший расцвет стихов Бунина — 1916 год. Самые сильные, мрачные, полновесные пьесы написаны накануне гибели той России, которая его родила и чью гордость он сейчас составляет. Из двухсот (приблизительно) стихотворений, помещенных в недавно вышедшем томе «Избранных стихов» — это стихи за всю жизнь! — пятьдесят помечены последним годом прежней России (1916). Их общее настроение — трагедия, надвигающаяся туча, — хотя говорят они и о самом родном. Среди них есть перлы.

* * *

Нередко говорят, что писатель вне родины чахнет. Он оторван, не знает быта, жизни, ему будто бы не о чем писать. Этим корили в свое время Тургенева. Этим травят сейчас эмигрантов.

Если понимать литературу в малом стиле — как фотографический аппарат, защелкивающий беглую современность, тогда это верно. Если брать в ней только внешность, обходя сердце, тогда тоже верно. И тогда придется счесть литературой

всякий «очеркизм» — подменить литературу журналистикой.

Если же принимать ее в высоком смысле (но ведь только так и интересно говорить о ней) — как поэзию, некое духовное излучение, тогда центр интереса перемещается из внешнего во внутреннее. Если душа жива, растет и зреет, если дрожат внутренние волны, то всегда будет о чем писать.

Бунин покинул Россию в 19-м году. Значит, четырнадцать лет провел он вне Родины. Увял ли он?

Лишь невежество и недобросовестность могут утверждать, что увял. Не только людям, давно и верно Бунина любящим и следящим за его развитием, но и каждому, кто хоть **бегло** просмотрел бы произведения его после 1919 года, станет ясно, что как раз в изгнании Бунин поднялся **еще на ступень**, вошел в полосу **закрепленной зрелости.**

Изгнание даже пошло ему на пользу. Оно обострило чувство России, невозвратности, сгустило и прежде крепкий сок его поэзии.

Художник поселился в Грассе. Кто знает это прекрасное, чистое и тихое место, безмерный в красоте своей и в благородстве провансальский пейзаж — с морем на горизонте и внизу лежащим сухим, коричневым, с флорентийским оттенком городком Грассом, тот сразу поймет, что отсюда видение мира, как и видение России, должно было принять особенный характер. Русская литература может поклониться Грассу.

Здесь написаны «Несрочная весна», «Цикады», «Митина любовь». Здесь же и «Жизнь Арсеньева» — еще не законченная.

Бунин довольно давно отошел от стихов. Но поэзия еще сильней напитывает его теперешнюю прозу, чем раньше. Далеко в прошлом юная поэтичность ранних произведений (иным стало **слово**, закалившееся и окрепшее, иной **длина волны** во фразе, шире дыхание). Не так близка Бунину нашего времени и острая зрительная изобразительность, предметность среднего его периода (время «Деревни», путешествий).

Восторг и страсть, горечь и прелесть жизни, любовь и ревность, чрезвычайной силы как бы мифологическое переживание прошлого (Россия) — вот чем полны «Солнечный удар», «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева». Бунин всегда был великим жизнелюбцем — религия священной жизни для него всегда была близка: теперь выступило это с особой силой.

«Жизнь Арсеньева» есть как бы capo lavoro автора. Детские годы в деревне, Россия Ельца и Орла, Малороссия, юг, поры-

вы души созревающей, переходящей из отрочества в юность, в любовь, с жаждой вобрать в себя весь мир, с внезапными скитаниями, бурными, иногда резкими порывами сердца и темперамента — все это взято сквозь (волшебную) призму поэзии. Все — в некоем мифологическом, очень тонком и легком тумане. В нем отчасти меняются очертания. Действительность смешиватеся с воображением — и наоборот. Совсем ли такой был молодой Арсеньев и насколько портретна молодая женщина, с которой он впервые испытал жизнь страстей, неважно. Важно, как рассказано о них, как они изображены. Важно, что они живут в некоем мире, не совсем повторяющем обычный, будничный.

Поэзия есть ощущение мира с волшебным оттенком. Потому и мир, создаваемый поэтом, несет оттенок мифизма.

«Жизнь Арсеньева» не закончена. Но и в теперешнем виде она показывает как бы всего, цельно-собранного Бунина. Уже по ней одной можно сказать, что все творчество его есть хвала источнику жизни, Творцу. Бог-Отец, вот его ипостась.

* *

В эти дни ко всему тому, чем был для нас Бунин, прибавилась еще черта: триумф.

Бунин увенчан не впервые. Трижды он получал в России Пушкинскую премию. 1-го ноября 1909 г. был избран академиком по разряду изящной словесности (в заседании Академии, посвященном Кольцову). Ясно помню тот день, вечер в московском ресторане «Прага», где мы в малом кругу праздновали избрание Ивана Алексеевича академиком, «бессмертным»... Вряд ли и он забыл ноябрьскую Москву, Арбат. Могли ли мы думать тогда, что через четверть века будем на чужой земле справлять торжество беспредельно-бо́льшее — не гражданами великой России, а безродными изгнанниками?

Значит, так надо было. Надо было Ивану Алексеевичу пережить войну и революцию, перестрадать острою болью крушение той России, которая его породила, — и оказаться на Западе чуть ли не беспаспортным.

Он не поддался и не сломился. Искусству, Родине, своему пониманию жизни остался верен. В нелегких условиях жил, трудился, рос. Дожил до огромного торжества.

Все русские на чужбине, так уставшие, столь много видевшие бед, неудач, иногда пренебрежительно-высокомерного

к себе отношения, радостно взволнованы победой Бунина — победой чистой и духовной, достигнутой лишь талантом и трудом. Радость их понятна.

И она еще больше у тех, кто долгие годы знал Ивана Алексеевича, чьи жизни прошли рядом с ним и его близкими. Кто любил его еще молодым человеком и ценил его дар еще тогда, когда он не был всемирно признан.

От лица этих приношу лауреату свой восторг.

1933

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ

8-го ноября 1953 года скончался Иван Алексеевич Бунин — старый, больной, измученный и душевно, и телом. Я его знал с 1902 года. Целая жизнь, и его, и моя.

Всегда он мне «нравился». С самых юных лет, когда я был начинающим писателем, а он уже известным, он мне именно нравился «бессмысленно» и бездумно: как нравится лицо, закат, запах леса. Кончая жизнь и о нем думая, нахожу, что относился к нему собственно, как к явлению природы — стихии. В его облике, фигуре, движениях, манере говорить, неповторимой одаренности всегда было для меня некое обаяние, внеразумное.

Первые встречи связаны с Москвой — молодой богемой левого литературного направления (сам он к ней не принадлежал, но бывал у нас). А с другой стороны, оба мы были членами вовсе противоположной «Среды», кружка более взрослых писателей-реалистов.

«На половине странствия нашей жизни» ...лет в тридцать пять, был он изящен, тонок, горд, самоуверен. В большую публику не проходил. Горький, Андреев шумели, он — нет. Но прочная литературная оценка его росла. В 1910 году выбрали его и в Академию, по разряду «изящной словесности».

Война, годы предреволюционные и сама революция сильно нас разбросали. Только тут, в эмиграции, жизнь снова сблизила. Встречались постоянно и в Париже, но особенно остался в душе Грасс, милая вилла Бельведер, скромная, с поразительным видом на Канн, море, горы Эстерель направо. Юг, солнце, свет, необъятная ширь, запах лаванды, тмина — порождение Прованса — и вообще дух поэзии, окружавший жизнь Ивана, Веры, молодых писателей-друзей, с ними живших (Л.Зуров, Галина Кузнецова).

По утрам трое мы строчили каждый свое в верхнем этаже,

моя Вера с Верой Буниной (подруги с юношеских лет, еще в Москве) вели женские свои разговоры, а внизу в большом светлом кабинете Иван писал какую-нибудь «Жизнь Арсеньева» или «Цикады».

Весь в белом, тонкий, изящный, теперь уже много старше, чем в Москве во времена «Среды», но легкий и быстрый как прежде, опять нравился как-то художнически — ну вот, особое существо, даровитейшее в каждом слове, движении — пусть характер нелегкий (не всем легкими быть, выдающимся же особенно), но какой-то человек-стихия. Все в нем земное, в некоем смысле языческое. Мережковский сказал о Толстом: «Тайновидец плоти» — верно. Бунин Толстого обожал. Ему нравилась даже форма лба его. «Ты подумай, ведь как у зверя дуги надбровные...» В юности, как это ни странно, Иван был даже одно время «толстовцем» (о чем сам написал). С годами это ушло, преклонение же перед Толстым, толстовской зоркостью, изобразительностью осталось.

У самого Ивана внешней изобразительности чуть ли не больше, чем у Толстого. Почти звериный глаз, нюх, осязание. Не хочу сказать, что был для него закрыт высший мир — чувство Бога, вселенной, любви, смерти — он это все тоже чувствовал, особенно в расцветную свою полосу, и чувствовал с неким азиатско-буддийским оттенком. Будда был ему чем-то близок. Но вот чувство греха, виновности вполне отсутствовало. «Нет, дорогой мой, я никого не убивал, не крал ничего...» — не сомневаюсь, и никто его в этом не подозревал. В общем же, «тайновидец плоти» был ему ближе Будды. А к концу жизни самая эта плоть, которая у него к старости и ослабела, существом его как раз завладела очень, стала как бы даже душить объятиями своими.

* * *

Бог с ней, со старостью, со слабостью. Об этом вспоминать не хочется. А вот Грасс, свет, солнце, море... Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и туфлях на босу ногу, и все мы сбегаем вниз к небольшой площади грасской, откуда идут автобусы в Канн к морю. Иван впереди всех, хотя всех старше. И в самом автобусе усаживается как начальство (это само собой выходит, он усилий не делает). Все время вертится, торопится. «Ну, едем, едем...» Не сидится ему на месте.

Но и действительно едем, по прелестной пригр632ской доли-

не, знаменитой душистыми травами и цветами своими (из них выделывают духи, это местное творчество).

Средиземное море! Море Улисса — но мы об Улиссе не думаем. Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног — он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское.

Засучивает совсем рукава рубашки.

— Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет, не в его характере. Хватает камешек, запускает в море — ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. «Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю». Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал. Некогда, проезжая с Верой своей в свадебном путешествии мимо Фавора-горы, что-то радостно говорил Вере о Преображении, но давно это было, двадцать лет назад. Теперь над ним самим тогдашним и над чувствами его тогдашними лишь

Засинеет даль воспоминанья

— его же строка, но из еще более ранних писаний.

* * *

«Скажи Боре, что я очень смеялась, когда читала о зимних вьюгах в «Анне», вспоминая ту жару, в которой он писал — значит, была потребность в снеге, холоде... — эту часть написал он у нас... Теперь он, вероятно, пишет зной? Ян тоже так: в деревне писал экзотические рассказы, а на Капри деревенские». (Из письма Веры Буниной моей Вере, 13-го января 1929 г. «Анна» — моя повесть, часть ее написана действительно в Грассе у Буниных, жара была знатная.)

Но мы выбирали все-таки дни полегче для выездов. Иногда я с младшими — Зуровым и Галиной, иногда с Иваном. В Грассе была тогда убогая и наивная узкоколейка, через Маганьоск, кажется, до Ванс, в сторону Ниццы. Доезжали до какого-нибудь городишки, бродили по разным ущельям — в горы, однако, не забирались, а довольно скоро засаживались в полудеревенское провансальское кафе, где прохладней, мухи сонно жужжат — мирное повседневное житье! Потягивали кисло-

ватое винцо — что Бог пошлет. Все это на большой высоте. Благословенный край внизу открыт в нежносияющей, голубовато-туманной дымке. Замыкалась она таинственно синевшим морем.

Помню, раз мы доехали с Иваном до Ванс, городка живописнейшего, заселенного теперь художниками. Тогда, кажется, никто еще не разводил здесь паров «мировой славы», досужие американцы не выкладывали еще восторженно кому следует своих долларов.

Мы с Иваном пешёчком спускались вниз по шоссе к Ницце. Он был в духе, легок, сух, блестящ, рассказчик неподражаемый — с ним трудно было соскучиться. О чем рассказывал? Не помню точно. И о разных юбилеях литературных девяностых годов, о московских либеральных бородачах-ораторах («много видел кобелей я на этом юбилее»), и о мужиках, деревне, знал потрясающее количество таких выражений «народной поэзии», что при дамах и сказать нельзя.

В городишке Сен-Поль, уже гораздо ниже Ванса, древнем провансальском, вдруг встретили мы странную процессию. Какие-то рыцари на конях, в латах, шлемах, с копьями, средневековые стрелки с луками, пехота в маскарадных костюмах.

— Вот стерва, ведь это они для синема стараются. Тут их будут снимать, на фоне этого городишки — городишко-то, правда, средневековый... Рыцари... подумаешь! Небось только и думают, как бы в бистро coup de rouge хлопнуть (и добавлял еще кое-что из народной поэзии).

Но был в настроении отличном. И сам бы хлопнул с удовольствием, но — «нет, дорогой мой, здесь винцо дрянь, Бог с ним!»

Благодушно пропустил мимо себя рыцарей, мы же продолжали путь свое к Ницце.

А в другой раз поехали втроем: он, я и Галина, в городок Бар, тут осталось у меня даже смешное воспоминание.

Иван, как всегда, в канотье своем, во всем белом, веселый и оживленный, вышел с нами из вагончика на «вокзал» (милое провинциальное убожество тех времен в разных Лоргах, Драгиньянах, в этом Баре) — и вдруг быстро, легко подскочил ко мне, остановился и стал в упор разглядывать, точно врач для диагноза. Отлично помню почти вплотную придвинувшееся лицо, многолетне-знакомые глаза, в них выразился теперь почти ужас. Но и на леопарда он был похож, вот сейчас кинется...

— Это козел! — сказал он сдавленно, все с тем же ужасом. — Это страшный козел! Страшный козел!

Мы с Галиной чуть не прыснули со смеху. Не то было смешно, что нашел он во мне нечто козлиное, но тот почти мистический страх, который выразился в его лице, несколько даже побледневшем. Точно встретил неожиданно мистического фавна — вот заиграет он сейчас на тысячелетней дудочке. Но я не заиграл, на ногах у меня шерсти не оказалось, просто туфли белые, и копыт под ними тоже не было.

Ну, разумеется, пустяк и мелочь. Но Иван вообще был одареннейшей «особенной» натурой. Это о себе он знал и об этом говорил. «Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром, в свой срок кто-то должен, и будет, чувствовать себя мною».

Не удивительно, что и меня, сотрудника «Современных записок», ощутил он вдруг неким козлоногим, древнего происхождения.

* * *

Милые дни Грасса всегда вспоминаю по-хорошему. Как и все в жизни, они кончились. В один из последних — если не в послений — отъезд наш оттуда Бунины провожали меня с моей Верой в поезде до Сан-Рафаэль. Иван был особенно в ударе — весь этот переезд оказался чуть ли не сплошным капустником Художественного театра. Иван разыгрывал перед нами какую-то сценку собственного сочинения — Москвин позавидовал бы. (Но вообще театра он не любил, хотя актерский талант несомненно в нем был, вернее, имитаторский. Некогда Станиславский предлагал ему сыграть какую-то роль, комическую, конечно. «Нет, дорогой мой, я не дурак, чтобы на сцену вылезать. „В Москву, в Москву..." — сверчок трещит, ходульный ветер за сценой воет... покорно благодарю».)

В вагоне у нас сверчков не было, публики тоже, Иван разворачивался перед двумя Верами и мною, и мы трое хохотали до одури.

Где надо было, наконец, выскочил из вагона, наскоро нас поцеловал и куда-то заспешил со своей Верой.

Мы и уехали. И ничего мы не знали о будущем. Мы не знали, что скоро грянет война, что сначала мы будем под немцами, потом Бунины там на юге под ними же. Что вся жизнь

бельведерская пойдет прахом и что Бунины хоть и останутся в Грассе, но в другом месте, и вообще что все в их жизни будет другое.

Когда война кончилась и мы вновь в Париже встретились, Иван был уже другой. Годы, треволнения, болезни, старость, неустройство — много тяжелого вошло в жизнь его. И чем дальше, тем больше. Давняя болезнь разыгрывалась. Терял много крови, бледнел, худел, раздражался. Материально опять стало трудно — Нобелевская премия прожита.

В эмиграции в это время начался разброд. «Большие надежды» на восток, церковные колебания, колебания в литературном, даже военном слое. Все это привело к расколу. Некоторые просто взяли советские паспорта и уехали на этот восток. Другие заняли позицию промежуточную («попутчики»).

Странным образом, мы оказались с Иваном в разных лагерях — хотя он был гораздо бешенее меня в этом (да таким по существу и остался...). Теперь сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко я стоял. Он понял дело так, что я веду какую-то закулисно-враждебную ему линию, а я был **именно** против таких статей. Но иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, и Ивану я **не** сочувствовал. Тут ничего уже нельзя было поделать. Темпераменты разные, но я не уступал ни пяди. Он более и более раздражался. Озлобленность его росла. Мы перестали встречаться.

Если не ошибаюсь, в последний раз видел я Ивана перед операцией, полуживого и несчастного. А последнее письмо мне от его Веры помечено 1 сент. 1950 г. «Дорогой Борис, Ян просит поблагодарить тебя за то внимание, которое ты оказал в его горестном положении...» И дальше в том же тоне вежливого и уже далекого внешнего осведомления. Как бы то ни было, фраза «Временами Ян страдает нестерпимо» и сейчас ранит сердце.

Он прожил еще три года, очень тяжких. И физически, и морально. Я его больше не видел. Грустно вспоминать все это, и, может быть, надо было преодолеть его раздражение и мрак, но сил, очевидно, не хватило. Поздно теперь сожалеть.

Лишь за несколько дней до его кончины я написал ему письмо, точно восстанавливавшее факты. Ему, думаю, было уже все равно. Ответа не получил. На пороге стояла смерть.

Лицо скончавшегося иеромонаха прикрывают черной кисеей. Монахом Иван не был, но распорядился заранее, чтобы лицо его было закрыто.

Самый уход был тихий, в глухой ночной час, на руках той самой Веры, с которой встретился он в моем и моей Веры доме сорок семь лет назад.

Что можно сказать теперь, через тринадцать лет? Кажется, только одно: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Иоанна» — душу мятежную и бурную, на земле пристанища не нашедшую.

Ноябрь 1966 г.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(К юбилею)

Слух обо мне пройдет
по всей Руси великой
Пушкин

Имя Горького связано с воспоминаниями дальними. Кажется, в 1898 г. был напечатан в «Русской мысли» рассказ его «Супруги Орловы» -- первая вещь, по которой запомнился он (говорю о себе; для других, может быть, это «Челкаш», «Мальва» и т.п.)

В зрелом возрасте «Орловых» я не перечитывал. Но юношеское впечатление помню: очень талантливо и очень чуждо. (У Чехова кто-то говорит: «Голос сильный, но противный».) Грубые, мутные краски, сильный темперамент, нескромность, мудрование и сентиментализм — в соединении с яркой изобразительностью. Как писатель известного масштаба, Горький сразу показал себя. Вот такой я, хотите, меня любите, хотите нет. Известен успех его начала. Нельзя сказать, чтобы он был незаслужен. Явилось в литературу новое, своеобразное — новый человек заговорил о новых людях. Все, конечно, помнят знаменитого босяка горьковского — сквозь ходули и слащавость от него все же отзывало Нижним, Волгой — Россией.

Встретиться с Горьким пришлось очень скоро, у Леонида Андреева. Высокий, сутулящийся, в блузе с ремешком, слегка закинутая голова с плоскими прядями волос, небольшие бойкие глаза, вздернутый нос, манера покручивать рыжеватые усики, закладывать руку за пояс-ремешок блузы, чтобы что-нибудь изрекать, окая по-нижегородски.... — таким он помнится. Большая, все растущая слава. И некоторе уже «знамя», наклон влево. Чехов -- чистая литература, Горький — вывеска для некоего

буревестничества. В этом смысле он роковой человек. Литературно «Буревестник» его убог. Но сам Горький — первый, в ком так ярко выразилась грядущая (плебейская) полоса русской жизни. Невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-Разбойник. Посвист у него довольно громкий... раздался на всю Россию — и в Европе нашел отклик. Не удивляюсь, что сейчас Сталин так приветствует его: сам-то Сталин, со своими экспроприациями, бомбами, темными друзьями, был всегда двоюродным братом Горького. Горький лишь вращался в более приличном мире. (Этот просвещенный мир, увы, долго не распознавал истинного его лица...)

* * *

Правда, он это лицо затушевывал. О, Горький мог отлично играть под «любителя наук и искусств», чуть ли не эстета. Образованным не был, но читал много. (И мучительно старался подчеркнуть, что он «тоже кое-что понимает».)

К удивлению оказалось, например, что он любит Флобера! (Сомневаюсь даже, мог ли его в подлиннике читать.) Вот на этом мы встретились в 1905 г. — он оказался моим издателем.

* * *

При буревестничестве своем и заступничестве за «дно» Горький принадлежал к восторгающимся деньгами. Он любил деньги — деньги его любили. (Признак, что уже не принадлежал к большой русской литературе. Ни Толстого, ни Достоевского, ни Тургенева, ни Чехова не вижу дельцами, а если бы занялись чем-нибудь таким, прогорели бы.)

Горький не прогорел. При нем, как и при Сталине и других, всегда были «темноватые» персонажи, непосредственно делами его занимавшиеся. На них, при случае, все можно было и валить. Не знаю близко дел горьковского «Знания». Разно о них говорили... Во всяком случае, сборники шли превосходно. Писателей ублажали. Таких гонораров, как «Знание», никто не давал тогда («Шиповник» явился позже). Предупредительность, любезность, почти доброта — все это я на себе испытал. Горький взял у меня перевод «Искушения св.Антония» Флобера (для сборника и отдельного издания). На нынешний курс выходило по тысяче франков за лист (перевода!). Было это в 1905 г. при начале революции.

Горький жил на Воздвиженке, рядом с «Петергофом», против

Архива Иностранных Дел (какие в саду чудные ветлы, тополя — весенняя радость Москвы!).

Говорили, что черносотенцы готовят погромы. Горького, в огромной его квартире, охраняли. Я был зван на обед. Первое, что в прихожей бросалось в глаза, — выглядывавшие из-за дверей усатые чернявые физиономии восточного типа: будущие «дружинники» восстания — ныне караул. Эти кавказцы, к счастью, с нами не обедали. Но «писатель из народа» был, конечно: тоже неизменный антураж бытия горьковского. Обед отличный. Хозяйка, Мария Федоровна Андреева — еще лучше. Некогда восторгались мы красотою ее в «Потонувшем колоколе» (Раутенделейн), потом разные роли она играла в Художественном театре... В те наивные годы никак нельзя было вообразить, как дальше все сложится в ее жизни... В те времена была она блистательной хозяйкой горьковского дома — простой, любезной, милой. Да и сам Горький... Вспоминая тот вечер, что плохого могу я сказать? Решительно ничего. Все как в «лучших» просвещеннейших домах. Разговоры о Брюсове и Бердяеве, «Новом пути» и Художественном театре, любезности, кофе, ликер. В сущности, всю жизнь так обедать, разговаривать и приходилось — будь то Петербург, Москва или Париж. Но вот Горький оказался особенный человек: с ним всю жизнь не прообедаешь.

А с Флобером и «Антонием» все обошлось отлично.

* * *

Разумеется, никто Горького не громил. Сам он, как раз вскоре после этого в газете своей «Новая жизнь» выпустил когти: произвел погром Толстого и Достоевского («М-мещане, знае-те-ли...»). На этих «мещанах» Максим Горький, переезжавший с просто хорошей квартиры на великолепную, из одного первоклассного отеля в другой — засел довольно надолго. Так называемые «годы реакции» (с 1906 до войны) проводил в большинстве заграницей. «Знание» в это время стало сильно сдавать, более модным и столичным оказался «Шиповник». Да и сам Горький находился в упадке. Первый, бурный успех его прошел, данных для успеха истинного и глубокого и вообще не было. Не зря появилась статья Философова «Конец Горького». Ю.И.Айхенвальд ответил: «Никогда Горький и не начинался». (И никогда не мог простить Юлию Исаевичу этих слов Горький, что, впрочем, и понятно.)

В те годы я его почти не видал. Запомнилась одна встреча

в Эрмитаже петербургском перед самой войной. Высокий человек, в черном пиджаке (прошла мода на романтические блузы с ремешками), вздернутый нос, рыжеватые усики... И ни на кого этот мастеровой никак не действует. Было время, достаточно ему появиться в фойе Художественного театра, и тотчас толпа. А теперь ходят студенты, барышни, дамы, смотрят картины, на Горького хоть бы взгляд. Значит, прощай слава.

— ...Здравствуйте. Удивительное, знаете ли, это культурное хранилище, Эрмитаж. Прямо восхищаться приходится... Вот, например, этот Боттичелли...

— Алексей Максимович, это не Боттичелли.

— Нет, нет, не говорите... Боттичелли.

— Это Беато Анджелико.

Разве такой уж грех спутать Анджелико с Боттичелли? Но доктринальный тон, а потом краска смущения и раздражения. («Я не какой-нибудь босяк, я Максим Горький, культурный писатель...»)

Вот какие времена: Горький стеснялся Беато Анджелико. Видно, что еще не воевали.

* * *

Казалось бы, по романтизму ранних его лет, по патетичности, индивидуализму Горькому из левых ближе всех эсеры. Но он терпеть не мог русский народ — особенно не любил крестьян. Может быть, слишком хорошо на своей шкуре познал жизнь низов. Прекраснодушия интеллигентского в нем не оказалось. И затем, думаю, деляческая, грубая и беззастенчивая «линия» большевиков больше ему отвечает, чем «туманный идеализм» эсеров (с неким религиозным уклоном — это он всегда ненавидел). Ленин, решительный и циничный (если надо, солжет, если надо, предаст), — ему много ближе какого-нибудь Каляева. Реалисты были большевики — как будто бы и далеко метившие, но отлично знавшие низкую сторону жизни (три четверти «гениальности» Ленина и состояли в том, что сумел вовремя сыграть на низких страстях).

Кажется, в полосе литературного упадка Горький еще ближе сошелся с большевиками. На острове Капри, где жил, вокруг него кишели эти люди, чуть ли не из ленинской пропагандистской школы. Да и сам Ленин бывал. Горький угадал, где будущая сила — и отчасти к ней прильнул. Что-то тесно, внутренне связывало его с Лениным, гораздо больше, чем с прия-

телями молодых лет: Андреевым, Шаляпиным. На литературе его тоже это отразилось.

Рост истинного художника нередко в том заключается, что от раннего и чрезмерного, от непосредственного «трепета чувств» переходит он к более крепкому, суховатому, обдуманному — глубокому. Бывает даже так, что в этой зрелой полосе он имеет меньше успеха (Пушкин, Гете). Может быть, Горький тем же утешал себя в полном неуспехе натянутой и скучной «Матери» (основное произведение зрелого его периода). Во всяком случае закат свой, и довольно скорый, переживал нелегко. Утешения, справедливые для Пушкина, Гете, для него не подходили. Ибо те развивались, росли, **углубляя** свое мироощущение. Зрелое творчество их становилось **не по зубам** толпе. Они меньше имели успеха потому, что слишком перерастали середину, и художество их питалось из глубоких источников религиозно-философских. Горький же поставил на марксизм. Правда, в ту пору еще осторожно. Сам был слишком силен, своеобразен, чтобы целиком лечь «под стопы паньски». Но последствия сразу определились: не было еще случая, чтобы выигрывал (внутренно) художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Вот уж подлинно закон, а не благодать! Искусство все построено на благодати и на живой таинственной человеческой личности. Марксизм человека вообще стирает. Он мертв и не благодатен. Враг художника. От него должен всякий, желающий идти «дорогою свободной», открещиваться, как от нечисти.

Горький не сделал этого.

* * *

И вот каково положение **пред** революцией: Горький очень знаменит, но почти не «действующая армия». Книги его идут слабо. Интереса к нему никакого, ни в публике, ни в критике, ни среди художников слова. «Всё в прошлом» — это Горький 1912-1916 гг.

Да, но несмотря на Капри, Ленина, сочувствие в войне Германии и ненависть к оружию русскому — Горький все же русский писатель с весом, первоклассным именем, авторитетом. Пусть Толстой его не любил, все же Горький дружит с лучшими русскими писателями, принят и желанен в образованном обществе, оценен и заграницей. По шаблону казалось бы — академия и безболезненный закат. Но Россия не Франция. С рус-

ской страной и русским писателем приключилось особенное — ни на кого и ни на что не похожее.

Литературно Горький в революцию не вырос, но и не очень сдал. Писал вечную историю некоей семьи «кулаков», «звериный быт» при царизме. Какой-нибудь Клим, Фома или Егор проходят жизнь с разными тяжкими и грязными эпизодами (любовь у него всегда животна), потом встречают замечательных социалистов, и все меняется к лучшему. Временами, например, в «Исповеди» (и в другом романе с «семейным названием»), попадаются яркие описания быта людей. Помню впечатление, лет шесть назад, от новой его вещи: «Все-таки еще Горький держится...» Он действительно не терял формы. Даже в пределах врожденной аляповатости и вульгарности пытался над нею что-то делать. От молодости осталась внутренняя безвкусица, цинизм. И возросла антидуховность. Может быть, это одна из самых страшных черт Горького, чем дальше, тем грубей, мрачней, кощунственней он становился. Это сближало его с людьми «новой России».

Но не сразу — далеко не сразу — он сошелся с ними окончательно.

Долгое ли пребывание в интеллигенции, личные связи, свободолюбие молодости — но поначалу Горький оказался даже неким enfant terrible революции. И газета его «Новая жизнь», и сам он в ней с большевиками враждовали. О, конечно, контрреволюционером никогда он не был. На первых порах позволялась ему дворянская вольность критики. Но только вначале. «Новую жизнь» все же закрыли. Горький был личный друг Ленина, и неприятностей для него самого не могло возникнуть... Он попал в положение либерального сановника при консервативном правительстве: ворчать можно, но про себя. А вообще начальство все и само знает, без критики.

В первые годы революции в нем появились новые страсти, окрепли и прежние. Из новых — к титулам, князьям, если можно, даже грандюкам. Для Чека это было, пожалуй, зазорно: Горький хлопочет за рюриковичей и, по-видимому, кое-кому помогает. Во всяком случае, в это время появилось у него не мало аристократических знакомств. Вторая страсть — к ученым. Не имев никогда никакого отношения к науке, он теперь твердо решил ее не выдавать. («Вы читали радиоактивиста Содли? Зна-ете-ли, пре-восходная брошюра...») Здесь, как и с князьями, принялся он развивать полезную деятельность. Правда, радиоактивист Содли в пайке не нуждался, но влюбленный в

него русский буревестник насчет отечественных радиоактивистов хлопотал. Чуть ли не при его содействии учрежден был и паек «цекубу», благодаря которому не окончательно вымерли ученые.

Страсть третья — вполне новая и вполне в русском писателе неожиданная: к спекуляции...

* * *

В Москве, на Николаевском вокзале.

— Куда это вы, Алексей Максимович?

— Да в Петербург, знае-те-ли. Спекулировать.

Такой разговор передавал мне близкий к Горькому (и очень ему преданный) человек. С ним тот не стеснялся — впрочем, напрасно было и скрывать: горьковское «эстетство» неожиданно в революцию возросло. К восхищению Беато Анджелико, принимаемому за Боттичелли, прибавилось понимание в фарфоре, мехах, старинных коврах... а всего этого тогда появилось немало. И темных людей, вокруг Горького сновавших, тоже немало. Шушукались, что-то привозили, увозили. Доллары, перстни, табакерки... Та самая М.Ф.Андреева, что некогда играла Раутендейлен, теперь, по старой дружбе, летала «дипкурьером» в Берлин, тоже что-то добывала и сбывала, хлопотала, создавала «комбинации».

— Не нападайте на Алексея Максимовича, — говорил мне все тот же общий у меня с Горьким приятель, — он спас 278 человек!

Откуда это известно ему было с такой точностью — сказать не могу. Но и если 27, тоже отлично. Но вот странная черта: об этой деятельности Горького знали все, и кто бы мог ее не одобрять? А все-таки ему не доверяли. Пресса у него была неважная. Например, выборы председателя Союза писателей. Из оставшихся в России Горький несомненно был знаменитейший. Естественно и ему возглавлять оба отделения Союза — петербургское и московское. Но ни там, ни тут он не прошел (в нашем, московском правлении не получил **ни одного** голоса).

...Так из буревестника обратился он в филантропического нэпмана, в подозрительного антиквара, «уговаривающего» Дзержинского поменьше лить крови, в кутящего с чекистами русского писателя, в «кулака» и заступника ученых, в хозяина революционного салона, где мог встретиться Ягода и Менжинский со Щеголевым и другими пушкинистами или с «радиоактивистом» на пайке Цекубу.

Помню беглую встречу с ним в одной театральной московской студии. Шла его пьеса «Страсти-мордасти». Очень изменился Горький не только со времен Леонида Андреева, но и со встречи в петербургском Эрмитаже: был мрачен — совсем темное дуновение шло от него. При нем свита подозрительных личностей. После спектакля все они «проследовали» в какой-то кабинетик, где был снаряжен ужин. Помню тяжелое, щемящее ощущение: это уже не писатель. Что-то совсем другое. (Ни одного **литератора**, кстати, и не было с ним.)

Вот как показалось: в морозную ночь Москвы, когда одних расстреливают на Лубянке, другие мерзнут по Кривоарбатским, третьи («радиоактивисты») голодают — атаман со своей шайкой пирует в задней комнатке захудалого театрика.

* * *

В 1920 году, при другой встрече, Горький говорил мне:

— Дело, знае-те-ли, простое. Коммунистов гор-сточка. А крестьян, как вам известно, мил-лионы... Миллионы! Всё пред-решено. Это... непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-решено. Коммунистов вырежут.

В 1921 году наступил летом голод — один из самых ужасающих в России. На Волге, в Крыму ели детей... все это на нашей памяти. Летом создался в Москве Общественный Комитет Помощи — знаменитый Помгол — под председательством Каменева. Это — детище Горького. Он убеждал Прокоповича и Кускову, он втравил и других в это дело сотрудничества с властью в грозную для народа минуту. Сам был где-то за сценой. Вроде маклера и зазывателя. Но в комитет не являлся, и когда всех нас арестовали, Горького не было с нами. Мы сидели в Чеке — вдохновитель, быть может, «спекулировал» в Петербурге или развлекался в Москве.

Все-таки, по сведениям нашим, эту историю он пережил не совсем легко. Еще горше оказалось дело с проф.Тихвинским в Петербурге, на всякий случай расстрелянным.

Горький расстроился окончательно и уехал за границу. Начались годы размолвки с советской властью, годы в Берлине, Сорренто, журнал «Беседа». Тут, по-видимому, и возникла серьезная, сложная, с «переменным успехом» обработка его и вновь приручение. В Берлине дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне» и еще красневшим перед старыми друзьями. С Горьким сближало Толстого чувство из-

гнанности из порядочного круга. А круг темных личностей так же плотно обступал обоих, как и полагается. В ресторанах у Ферстера и других стыд топить не так трудно.

К 26-му году положение выяснилось. Толстой давно был в Петербурге, халтурничал, денежно преуспевал. Горький тоже окончательно перешел к «ним». Вот что писал он о внезапной смерти одного из величайших русских палачей, Феликса Дзержинского:

«Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые его видел в 9-10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18-21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами, благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня и любить и уважать себя. И мне так понятно трагическое письмо Екат. Павловны [Пешковой]*, которая пишет мне о нем: „Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его"».

* * *

> Когда я глядел, как он бродит между соснами, сгребая палочкой сухие листья, думалось: хорошо, должно быть, высоко, честно на душе этого большого человека и большого художника.
>
> Ал.Толстой. (О Горьком, 15 октября 1932)

> — Ну, вот, профессор, вы пожили в Москве, многих видели... Скажите, что говорят теперь о Горьком?
>
> Иностранец:
>
> — Одно говорят, я всегда одно слишал: продáнный человек.

Некогда — это кажется теперь случившимся сто лет назад — Горького избрала Академия, наравне с Чеховым и Короленкой, академиком по разряду словесности. Государь его избрания не утвердил. В виде протеста Чехов с Короленко сложили и с себя звание академиков.

* Первая жена Горького.

«Еду в Петербург спекулировать». «Бесконечно дорогой Феликс Дзержинский».

— Проданный человек.

Перевернутся ли в гробах Антон Чехов и Владимир Короленко?

Тот, кто не пустил Горького в русскую Академию, зверски убит с семьей горьковскими друзьями. Лицо Горького, с щетинистыми усами, смешное и жалкое, отпечатано на советских марках.

* * *

Но дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова.
Лермонтов

Низость людскую большевики хорошо знают. Умение закупать – их дело. Список велик, есть и европейские «звезды», типа Бернарда Шоу.

Госиздат покупает сочинения нужного европейского писателя – хотя может печатать и даром, конвенции нет. Но купить лучше.

Горький мог, разумеется, изменить свое мнение о советах и их правлении. Вот если бы сказал он им «осанна!» и с осанною этою избрал бы бедность и безвестность, то пришлось бы над его судьбой задуматься. Но ему заплатили хорошо... Доллары, особняк, вино, автомобили – трудно этими аргументами защищать свою искренность.

Дали ему не только деньги. Дали славу. «На вольном рынке» ее не было бы, даже Западу Горький давно надоел. Но на родине «приказали», и слава явилась. Она позорна, убога, но ведь окончательно убог стал и сам Горький. В сущности, его даже и нет: то, что теперь попадается за его подписью, уже не Горький. У каждого есть свой язык, склад мысли, человеческий облик. Горький отдал его. Чрез него говорит «коллектив». Нельзя разобрать, Горький ли написал или барышня из бюро коминтерна! Горькому дорого заплатили — но и купили много: живую личность человеческую.

Слава же его, кроме позорного, имеет и комическое: назвать Горьким Нижний, Тверскую... Утверждать, что он выше Толстого и Достоевского. Окрестить именем его Художественный театр, созданный и прославленный Чеховым...

* * *

Тяжело писать о нем. Дышать нечем. Пусть он сидит там, в особняке Рябушинского и плачет от умиления над собою самим — слава Богу, что ни одному эмигрантскому писателю не суждена **такая** слава и такое «благоденственное» житие: Бог с ним. На свежий воздух — «дайте мне атмосферы»!

Милый праведник Чехов!

1932

«ИИСУС НЕИЗВЕСТНЫЙ»

«Маленькая, в 32-ю долю листа, в черном кожаном переплете книжечка. Судя по надписи пером на предзаглавном листке: „1902", она у меня до нынешнего 1932 года — 30 лет. Я ее читаю каждый день, и буду читать, пока видят глаза, при всех, от солнца и сердца идущих светах, в самые яркие дни и в самые темные ночи; счастливый и несчастный, больной и здоровый, верующий и неверующий, чувствующий и бесчувственный. И кажется, всегда читаю новое, неизвестное, и никогда не прочту, не узнаю до конца; только краем глаза вижу, краем сердца чувствую, а если бы совсем — что тогда?»

Это слова Мережковского о себе. «Книжечка» — Евангелие, с виду именно книжечка, внутренно... «Или этой книге, или этому миру конец» (М.). А дельше опять, очень просто и человечно: «Надо бы отдать переплести заново, да жалко, и, правду скажу, даже на несколько дней расстаться с книжечкой страшно».

...Именно тридцать лет назад довелось прочесть ранние книги Мережковского: «Юлиан Отступник», «Леонардо», «Толстой и Достоевский». Они сыграли некую роль в юношеском развитии. Вспоминая Мережковского той поры, сопоставляю с нынешним.

Он и остался Мережковским, разумеется. Но очень изменился.

* * *

Не знаю, читал или не читал ежедневно Евангелие, когда писал те книги. Но глаз как-то не так смотрел, взор по-иному устремлен. Одновременно, и с холодком, видел верх и низ, по его тогдашним любимым словам, «бездну верхнюю» и «бездну нижнюю». Демоническое в Юлиане, демоническое в Леонардо — это его очень влекло. Сам стоял в сторонке. Еще можно

было просто жить, в Петербурге, быть известным писателем, писать замечательные книги... — но в жизни ничего особенного не случалось. Можно еще какого-то последнего выбора не делать. Подождать.

А затем — тридцать лет Евангелия и тридцать лет нарастания трагедии. «Иисус Неизвестный» явился уже в Пасси, на реках Вавилонских. Пасси место тихое, но вокруг всё не тихо. Уже «Атлантида» написана по-другому, другими ритмами и словами — «Иисус Неизвестный» же — в особенности.

Тридцатилетняя «жизнь с Евангелием» состояла в том, что человек всматривался изо дня в день в тот Лик, без Которого все труднее, если не невозможнее, становилось жить. Трагедия росла, ощущение конца (в смысле апокалиптическом) тоже росло. Все это как бы **придвинуло** Мережковского ко Христу — тут уж не до холодноватых и двусмысленных высот.

...Мережковский, однако, всегда был, и остался, вольным и одиноким гностиком — ему хотелось и рассмотреть что-то о Христе, узнать, заглянуть в ж и з н ь Иисуса-человека. Плодом чего и явилась книга: книга всматриваний припавшего ко Христу.

Эти всматривания касаются: и Евангелистов, и Крестителя, и Богоматери, — преимущественно же Самого Иисуса. Кроме Евангелия, привлекает автор огромный материал «Аграф» («незаписанного слова»), Церковью не принятого за достоверное, но откуда, по мнению Мережковского, можно извлечь драгоценные черты, слова, факты. Не боится он и Апокрифов. И идет еще дальше: о многом, чего не знаем мы в Иисусовой жизни, пишет сам «апокрифы», оговариваясь примерно так: да, это мой домысел, но рожденный из моего вживания и из моей любви. Пишу так, как подсказывает чутье. Если смело, то отвечаю сам. Но ведет меня любовь.

Отсюда: Рождество Христово, Иисус ребенком с козами на «злачных пажитях горных лугов Галилеи», Искушение Христа и др. «Назаретские будни» — мальчик Иисус в школе. Дева Мария, плотник Иосиф — бедная и святая жизнь, в которой Спаситель возрастает.

Мережковский не был в Палестине. Пейзаж взят им условно и «вообразительно». Я считаю, что очень удачно по тону: Иисус Пастушок, например, в одиноких горах с козами — прозрачностью, чистотой краски напоминает ранне-итальянское: Симоне Мартини или сиенцев. Рождение в яслях — Беато Анджелико. И своеобразный, текуче-мрачный тон в Искушении...

Вообще, надо сказать, что вся книга написана словом возбужденным, легким и патетическим. Нечто текучее, переливчатое есть в нем — по временам очень пронзительное. Вот уж никак не покойное повествование! Да и как мог бы покойно и удобно повествовать автор о том, что считает он столь великим и таинственно — неисследимым, что всю жизнь надо читать и «сколько ни читай, все кажется, не дочитал, или что-то забыл, чего-то не понял».

* * *

В Мережковском нет детской простоты, такого безответного отдания себя, как у жен мироносиц, или у «верующих баб» Оптинских старцев. Всякому ясно, что душа эта сложная, раздираемая, вопрошающая, непокорная и глубоко-своеобразная. Без Христа жить она больше уже не может, но, припадая к Нему, волнуется, пытает (иногда, может быть, и сомневается).

— Какой Ты был? Что думал тогда-то?? Что делал в такие-то часы Твоей жизни?

Некоторым (глубоко церковным) людям несколько покажется дерзновенной мечта Мережковского, упорство его, смелость, с которой он порою приписывает Иисусу чувства... — о которых просто как бы догадывается. Смелость, конечно, велика. Но источник ее глубок. Ее источник высоко — серьезен, значителен. Если бы Мережковский праздно разглагольствовал, было бы плохо, даже кощунственно. Этого вовсе нет.

— Я люблю Тебя, я Тебе поклоняюсь и благоговею перед Тобой, но я хочу все о Тебе знать, — вот что мог бы сказать Мережковский.

Может быть, это лучше равнодушия или привычки? Казенного холода?

* * *

ИЗОБРАЗИТЬ Христа невозможно — этой задачи не ставил себе Мережковский. Читателю кажется, что задача: проникнуть за видимую часть спектра, туда, где инфракрасные лучи. Тоже немалое намерение! Выполнено оно или нет в замечательном этом произведении?

На мой взгляд — да. Не в том смысле, чтобы в заглядывании «туда» был Мережковский всегда прав, а в том, что дается ощущение тайного: сложнее, противоречивей как будто

оказывается все — и человечней. Христос не «закованный в ризы», а более свой, наш, человеческим взором — бедным и малым — видимый, человеческим ухом слышимый.

Человеку, в догадках своих, свойственно (и простительно) ошибаться. Никогда он не может разглядеть и расслышать не только всего, но и большого. И всегда, если даже «краем глаза» или «краем сердца», почувствует — и то хорошо.

«Иисус Неизвестный» волнует читающего, как волновал он писавшего. Как составлял часть жизни автора, так частью жизни становится и для читателя. Богослов, историк Церкви, христианский философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто читатель прочтет с увлечением своеобразнейшую книгу, написанную с некою исступленностью, острую, смелую — в центре которой величайшее Солнце мира.

1932

ПАМЯТИ МЕРЕЖКОВСКОГО

100 лет

Время идет, время проходит. Сто лет было бы теперь Дмитрию Сергеевичу!

Когда юношей встретился я с ним впервые — через книгу, — был он вовсе не стар, но писатель уже известный. Книги эти: «Вечные спутники», «Толстой и Достоевский». Первая — литературные очерки, все о «настоящих», действительно, спутники вечные. Сервантес, Марк Аврелий, Гете, Ибсен, Флобер мой драгоценный, великий Достоевский и еще другие. Все это — его раннее писание. Написано блестяще, сухо, сдержанно и очень подругому, чем писали тогдашние писатели в толстых журналах. (Провинции никогда не было в Мережковском. Один из первых проветрил он русские восьмидесятые-девяностые годы, да и Михайловский стал историей.) Проветривание связано было с тем, что Мережковский внутренне воспитывался уже и на Европе — в образе ее истинной культуры, — а доморощенности в нем никакой не было.

Думаю, что книгой, резко повернувшей понимание двух наших великанов, был огромный труд «Толстой и Достоевский». Вот за него останусь навсегда и особо благодарен покойному, столь одинокому, хоть и знаменитому Дмитрию Сергеевичу.

Я был студентом, начинающим писателем московским с Остоженки и Арбата, когда довелось прочесть эту книгу. Оказалась она для меня неким событием — ее чтение было частью моей жизни. (И как Бога благодарю, что имел возможность часами уходить в то, что привлекало ум и душу!)

Не перечитывал с тех пор этого «Толстого и Достоевского», да несколько и боюсь перечитывать: так много времени ушло, так изменился сам, так изменилась жизнь, что и не хочется, чтоб изменилось впечатление. Но вот оно осталось. Многих,

не меня одного, эта книга сдвинула. Не то чтобы фигуры действующих лиц выросли — они и так были огромны, без Мережковского. Но он передвинул их по-новому, осветил, оценил, получилось ярче и еще убедительней.

Некая схема в писании его и тогда чувствовалась: «Тайновидец плоти», «Тайновидец духа» — Мережковский любил такие вещи. «Бездна вверху, бездна внизу» — все же противопоставление что-то давало, даже и очень яркое. Обе фигуры получили особый оттенок (но и ярлык, конечно).

Сколько помню, Достоевского выдвигал он с бóльшим созвучием и сочувствием внутренним, чем Толстого. Оно и понятно. Как бы ни относиться к духовности Мережковского, начала природного, земляного и плотского в нем уж очень мало, пожалуй, совсем не было. Оба они — и он, и Зинаида Николаевна Гиппиус так и прошли чрез всю жизнь особыми существами, полутенями, полупризраками (в литературе. В жизни бывали, он особенно, иногда очень «жизненными»).

Все же трудно представить себе Мережковского отцом семейства, Гиппиус матерью.

* * *

Личная встреча произошла позже, но тоже в начале века.

Мы ездили иногда с женой из Москвы, где жили, в Петербург, по литературным делам. Друг наш, Георгий Чулков, основатель «мистического анархизма», вводил нас в петербургский литературный круг самоновейшей, сильно выдвигавшейся на смену прежней интеллигенции. Чулков редактировал «Вопросы жизни», где Булгаков и Бердяев особенно выделялись (журнал явился на смену «Нового пути» Мережковского, но Мережковский и тут сотрудничал.

Чулков жил в огромной квартире журнала, там же и Ремизов с женой — считался он «секретарем редакции». (Воображаю, что за секретарь был Алексей Михайлович!) С этим секретарем, и вернее с крошечной дочерью его Наташей связано первое зрительное впечатление от Мережковского и знакомство с ним.

Вхожу в комнату Ремизовых — комната большая, большое кресло, в нем маленький худенький человек, темноволосый, с большими умными глазами, глубоко засел. А на коленях у него ребенок, девочка, едва не грудная, он довольно ласково покачивает ее на своей тощей интеллигентской ножке, чуть ли не мурлыкает над ней. Картина! Мережковский и колыбельная песенка. Верно, раз за всю жизнь с ним такое произошло.

(Только не доставало, чтобы он пеленки Наташе менял.)

Тут же и Алексей Михайлович, худощавый, в очках, и могучая Серафима Павловна. Шестьдесят лет прошло, а как вчерашнее помнится. И до сих пор непонятно, какая связь могла существовать между крохотным беззащитным младенцем, полустихией еще, и бесплотно-поднебесно-многодумным Мережковским. Но вот случай выпал. Конечно, только случай.

Вторая встреча в другом роде, у Федора Сологуба, на ужине где-то на Петербургской стороне или на Васильевском острове, не помню.

Сологуб был в то время известным, но еще не столь прошумевшим писателем, как позже. Служил инспектором в городском училище и жил в нем, в казенной квартире, с сестрой.

И квартира сама — большая, старомодная, с фикусами в горшках, рододендронами, столовая с висячей неяркой лампой, и тусклой хозяйкой, старой девой, лампадки, кисловато-сладкий запах — всё слишком уж мало шло к таинственному хозяину, автору разных дьяволических штучек, загадочных мальчиков и «Мелкого беса».

Федор Кузьмич казался старше своих лет — совсем лысый, водянистые серьезные глаза, пенсне, розоватые поблескивающие щеки (на одной крупная бородавка), неторопливые движения. Речь отрывистая, краткая. Сумрачный облик, соответственый писанию его. Но как хозяин очень гостеприимен. Кроме Мережковского, за столом сидели Кузмин, Ауслендер, может быть, Гржебин, Нарбут, Сомов, Чулков и я, оба с женами. Странным образом Федор Кузьмич все время был на ногах, в тусклой этой комнате (где хорошо бы поселиться сологубовским «недотыкомкам»), медленно обходил гостей и приговаривал загробным голосом:

— Кушайте, господа, кушайте! Прошу вас, кушайте!

Сестра его, бесцветная женщина с гладко зачесанными назад волосами, чуть не примасленными, если и проявляла какую деятельность, то предварительную, кухонно-кулинарную. Сейчас скромно помалкивала — куда уж там разговаривать наравне с Мережковским, бездной вверху и внизу.

За кофе Дмитрий Сергеич что-то перешептывался с Гиппиус, посматривая на нас с женой. Зинаида Николаевна нас разглядывала, наводя свой лорнет, как дальнобойное орудие. Мы были москвичи, в некоей степени провинциалы и вообще новички.

Мережковский завел общий разговор, характера, конечно,

возвышенного, религиозно-философского. Гиппиус вдруг перебила его:

— Дмитрий, погоди... (У нее была манера — даже на публичных выступлениях мужа вмешиваться, будто сбивая его. Но все это входило в их семейный обиход, точно она его поддразнивала и вносила тем некую пряность в мудрствования.)

— Погоди, я вот хочу спросить у Зайцева...

Дальнобойное орудие вновь было наведено на меня. За ним виднелся изящный, трудно забываемый облик, с огромными глазами, лицо несколько подрумяненное, худые тонкие руки. Облик высокомерный, слегка капризный, совсем особенный...

«Дмитрий» покорно замолчал. Своим слегка тягучим голосом — в нем отчасти было коварство, отчасти желание проэкзаменовать заезжего, все с тем же лорнетом у глаз — задала она мне в упор вопрос с видимым желанием «срезать».

Не помню в точности, как она выразилась. Был там только Христос и какая-то мушка. Как бы, по-моему, Христос поступил с мушкой, ползшей по скатерти — что-то вроде этой чепухи.

Неожиданно для себя я вдруг внутренне вскипел и ответил с почти неприличной резкостью юного, замкнутого самолюбия, почуявшего ловушку, — ответил вроде того, что самый тон вопроса в отношении Христа считаю кощунственным — и еще что-то в этом духе (с мужеством отчаяния, когда человек бросается вниз головой со скалы).

Но голова не разбилась, а эффект получился неожиданный: и Дмитрий Сергеевич, и сама Гиппиус весело рассмеялись. Отпора мне никакого не было — нечего и связываться с младенцем.

— Пейте, господа, кофе, пейте, — невозмутимо-погребально говорил Сологуб, прохаживаясь вдоль стола. — Пейте кофе!

* * *

Позже приходилось слышать Мережковского в Москве на открытых выступлениях. В Историческом музее маленькая его фигурка перед огромной аудиторией, круто подымавшейся вверх, наполняла огромным своим голосом все вокруг. Говорил он превосходно, ярко и полупророчественно. Некая спиритуальная одержимость влекла его. Это было и суховато, как бы без влаги, но воодушевление несомненно. Нет, не пророк, конечно, но высокоодаренное и особенное существо, вносящее неповторимую ноту. Мимо не пройдешь. Не зажжет, не взвол-

нует и не умилит, но и равнодушным не оставит. Большой оратор, большой литератор, но никак не Савонарола.

Выходили в это время и некоторые замечательные его книги — «Леонардо да Винчи», «Гоголь и чорт». «Леонардо» — вроде исторического романа. Но именно «вроде». Настоящим художником, историческим романистом (да и романистом вообще) Мережковский не был. Его область — религиозно-философские мудрствования, а не живое воплощение через фантазию и сопереживание. Исторический роман для него, в главном, — повод высказать идеи. Но вот «Леонардо да Винчи» при всей своей книжности, местами компилятивности, все же вводил в Италию, в Ренессанс, просвещал и затягивал. Помню, зачитывался я этим «Леонардо» — проводником в милую страну.

Это было время так называемого религиозного возрождения в России, вовлечения интеллигенции в религию. «Религиозно-философские собрания» в Петербурге, где светские типа Карташева, Мережковского, Гиппиус и других встречались на диспутах с представителями Церкви. Замечательная полоса русской духовной культуры. Время Мережковского и Гиппиус, Булгакова, Бердяева, Франка, сборников «От марксизма к идеализму», «Смены вех», предвоенный и предкатастрофный подъем духа, прерванный трагедией революции, но перенесенный в зарубежье. Тот подъем и того духа, который породил Сергиево Подворье, Богословский институт, Студенческое христианское движение. (Подумать о христианстве в студенчестве моей молодости в России! Тогда надо было быть народником или марксистом, а уж какое там христианство. Gaudeamus igitur, московские студенты с Козихи, выпивка на Татьянин день, требование конституции... — тут не до Мережковских и Гиппиус, не до Бердяевых и Булгаковых.)

Слабость Мережковского была — его высокомерие и брезгливость (то же у Гиппиус). Конечно, они не кричали — вперед на бой, в борьбу со тьмой — были много сложнее и труднее, но и обращенности к «малым сим», какого-либо привета, душевной теплоты и света в них очень уж было мало. Они и неслись в некоем, почти безвоздушном пространстве, не совсем человеческом. Это не уменьшает, однако, высоты их идейности.

Теперь очень принято говорить о начале века как о «Серебряном веке» литературы русской. Взгляд правильный. Можно бы добавить: и культуры религиозно-философской. И в этой области надо сказать о Мережковском и Гиппиус, что были они писателями предутренними. От большой публики тогдашней

далекие. Да одинокие и сейчас. Не зря некогда собиравшаяся меня срезать Зинаида Николаевна сказала о себе («себе» — значит и о Мережковском):

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

* * *

В предвоенные и предреволюционные годы Мережковские были настроены очень лево. Но октябрьская революция и коммунизм вовсе им не подходили. Как почти вся взрослая литература наша того времени, очутились они в эмиграции.

Как и некогда в Петербурге, в Париже вели труднически-литературную жизнь в своем Пасси, на улице Colonel Bonnet, в двух шагах от Бунина, Ремизова, да и от той rue Claude Lorrain, где мы с женой жили. После дня работы — писания, чтения выходили они вместе гулять — Дмитрий Сергеич старенький, сгорбленный, в еще петербургском зимнем пальто с заслуженным, вытертым воротником, Зинаида Николаевна с неизменным лорнетом. Высокая, тонкая, с прекрасными глазами русалочными, под руку с мужем. А он, согнувшийся, едва брел. Но по части писания остался неутомимым. В это время был уже автором многочисленных книг. И трилогия «Христос и Антихрист», и «Грядущий хам», и о декабристах, Александре I, Павле — все позади.

Теперь занимался разными Тутанкамонами, Египтом, Атлантидой. Писал и о великих святых, и об «Иисусе Неизвестном», и о Данте. И так же оставался знаменито-одиноким.

В Париже мы встречались, но не часто и поверхностно — в литературном салоне М.С.Цетлиной; иногда бывали и у самих Мережковских.

Но ближе и чаще пришлось видеть их в Белграде, на съезде эмигрантских русских писателей в 1928 году.

Меня поселили в одном с ними отеле, и нередко я к ним заходил. Тут воздух был уже иной, чем некогда в Петербурге. И Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна держались гораздо проще, естественней и приветливей, она в особенности. (На днях нашел я у себя книгу ее стихов с надписью 1942 года: «в знак нашей старой и неизменной дружбы» — это уже не Христос и мушка.) Странно, но получилось, что сблизила несколько чужбина. Хотя чужбина эта — Сербия — была весьма благосклонна. Сам Мережковский высказал это однажды, у себя в комнате отеля, за чайным столом.

— Первый раз в эмиграции чувствую себя не отщепенцем и парией, а человеком.

Действительно, в Югославии к нам относились замечательно. Тон задавал король Александр (учившийся некогда в Петербурге, говоривший по-русски, на русской культуре воспитанный). Но и сами сербы все же славяне, другая закваска, не латинская. Что-то свое. Наш Немирович-Данченко (Василий Иванович), старейший группы нашей, некогда был корреспондентом русской газеты в освободительной войне 1877 года, здесь же под Белградом сидел в окопах. Он сербами расценивался теперь как некий фельдмаршал от журналистики дружественной.

Мережковский был для них, конечно, как и для русской провинции, неким заморским блюдом, очень уж на любителя. Куприн проще, доступнее, без бездн и Антихристов, с ним можно было (и занятно) заседать по «кафанам», подпаивать его и быть с ним запанибрата. Мережковский капли вина не пил. Для Куприна капля — ничто.

Помню вечер-банкет у министра народного просвещения. Мережковский сидел в центре, за главным столом, рядом с министром. Слева от министра, тоже рядом, Гиппиус.

Были речи. В некий момент встал и Мережковский (на этот раз Зинаида Николаевна не перебивала его и вообще не мешала). Маленький, худенький, но подтянутый, в смокинге, говорил он хорошо, все же не с таким подъемом, как некогда в Москве, но возвышенно, о борьбе с коммунизмом. Без Антихриста, конечно, не обошлось. Сербы слушали почтительно, но отдаленно.

Вдруг в дальнем конце столов произошло некое движение, тяжко отодвинут стул, к нашему столу, сбоку, приближается нетвердой поступью человек с красным лицом, взъерошенными волосами, останавливается прямо напротив Мережковского и министра и начинает говорить. Александр Иванович Куприн! За день достаточно утешился сливовицей и пивом в кафанах, но у него тоже есть идейка насчет большевиков — тоже и он оратор. Ничего, что говорит Мережковский. Можно вдвоем сразу, дуэт. Мы тоже не лыком шиты.

Даже сосед мой, достопочтеннейший епископ Досифей — Царство ему Небесное! (впоследствии мученически убиенный) — не может не улыбаться.

Но недолго оказался дуэт. Из тех же глубин, куда засадили Куприна (по неблагонадежности его), вынырнули здоровые

веселые молодцы, весело отвели его на галерку. Он не сопротивлялся. Мережковский продолжал плавать в стратосфере. Куприна же, вероятно, отвели в какую-нибудь кафану. Во всяком случае, в тылу у нас стихло. Мережковский кончил спокойно.

* * *

Через двенадцать лет настали жуткие времена. «Нашествие иноплеменных». Париж сначала сильно опустел. Остались больше всего консьержки. Позже многие возвратились. Мережковские жили по-прежнему на Colonel Bonnet в Пасси. В сумрачные эти годы принимали они по воскресеньям, и об этих скромных дневных чаях осталось хорошее воспоминание — уголок мирной культуры среди кипевшей брани.

Встречал гостей Злобин, секретарь Мережковских. Зинаида Николаевна подымалась с дивана в гостиной, где лежала до нас с папиросой и томиком французским в руках. Лениво подходила к кабинету Мережковского, лениво и протяжно кричала ему:

— Дмитрий, выходи! Пришли.

В столовой собирались понемногу литераторы — более молодого поколения — Адамович приходил, Оцуп, Терапиано, тихая Горская, иногда мы с женой, Тэффи, еще другие. Хозяйничал Злобин. Через несколько минут выходил сгорбившись Мережковский — маленький, пошаркивая теплыми туфлями, позевывая, с таким видом, будто говорил: «Ну вот, опять пришли», — но все же руки пожимал довольно вежливо. («Зову, но не настаиваю».)

Злобину, вдруг хозяйственно, почти повелительно и громко:

— Володя, есть пирожные?

Володя разливает чай. За столом он главнокомандующий. На нем вообще держится весь жизненный оборот Мережковских: как заправские писатели дореволюционных времен, сами они вполне в этом беспомощны, как дети. (Чтобы увериться, что чайник закипел, Зинаида Николаевна подымала крышку и через лорнет рассматривала, бурлит ли вода.)

Дмитрий Сергеич все утро, до завтрака, писал своих Францисков, Августинов или читал. Лени в нем ни малейшей. Восьмой десяток, но он все «на посту», как прожил жизнь с книгами своими, так с ними и к пределу подходит. Теперь оба они много мягче и тише, чем во времена Петербурга и Сологуба. Зи-

наида Николаевна чаще приветливо беседует с моей женой, и меня не только задирает, но держится просто и сочувственно. Дмитрий Сергеич трет себе виски после дневной дремы, заводит разговор, конечно, выспренний, но безобидный.

Так доживали они свои дни в Пасси, на улице Colonel Bonnet. Тут написал он раздирательную книгу о св. Иоанне Креста (St. Jean de la Croix). Долгий путь от «Вечных спутников», «Юлиана Отступника», но всегда плывет, всегда надземный, к небесам лицом, хотя и пирожными интересуется.

Раз, утром зимним, вышел он в кабинет, сел в кресло перед топившимся уже камином — думал ли о св. Иоанне Креста или о чем житейском? Бог весть. Но когда прислуга вошла поправить уголь в камине, он сидел как-то уже очень неподвижно в глубоком кресле этом. Встать с него самому не пришлось. Сняли другие.

На следующий день пришли мы поклониться ему прощально — он лежал на постели, худенький, маленький, навсегда замолкший.

Помню хмурое утро январского дня 1941 года — полутьму храма на Дарю, отпевание «раба Божия Дмитрия». Было в церкви нас человек пятнадцать. Хоронили знаменитого русского писателя, известного всей Европе.

* * *

Зинаида Николаевна тяжело переносила его уход. Я думаю! Вся жизнь вместе — ведь ни одного письма не сохранилось ее или его к ней: они никогда не расставались. Незачем и писать.

А пережила она его на четыре года. И на том же кладбище Sainte Geneviève des Bois упокоилась она, где и он, в той же могиле. Небольшой стоит там памятник, как бы часовенка. И никаких цветов, никаких знаков внимания от живых. Одиноко жили, одиноко и ушли.

1965

БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ

Июльским вечером, двадцать пять лет назад, проходили мы с Алексеем Толстым по морскому берегу в местечке Мисдрой, близ Штеттина. Солнце садилось. Было тихо, зеркально на море. Паруса трехмачтовой шхуны висели мирно — казались черными.

Алексей собирался в Россию.

— Ну и поезжай, твое дело.

Но ему хотелось бы, чтобы я восхищался. Вот этого не было. И странный союзник у меня оказался — Максим Горький. Он жил в Херингсдорфе, тут же на побережье. Работу Толстого в «Накануне» и все предприятие с Россией — не одобрял.

Алексей вдруг остановился, отшвырнул ногой камешек и уставился широким, полным, уж слегка обрюзгшим лицом на меня.

— Ты знаешь, кто ты?

— Ну?

— Ты дурак. Ты будешь нищим при любом режиме — а-а, ха-ха-ха...

Он заржал тем невероятным, нутряным смехом дельфина или кита — если бы те собрались засмеяться, — о котором и сейчас с улыбкой вспоминаешь. А тогда нельзя было сопротивляться. Я и сам захохотал.

Он меня обнял.

— Пойдем пить таррагону.

Что мы и сделали. Через несколько времени он уехал в Россию.

* * *

Алексей не ошибся. Нечего говорить, по таланту, стихийности (писал всегда с силой кита, выпускающего фонтан), в России соперников не имел. Прожил жизнь бурную, шумную, но

и мутную, со славой, огромными деньгами, домом-музеем в Царском Селе, тремя автомобилями. Был ли душевно покоен? Не знаю. По немногому, оттуда дошедшему, благообразия в бытии его не было. Скорее тяжелое и неясное. Он любил роскошь, утеху жизни, но не весь был в этом.

В живых его нет. И всё кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой... От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал «Петра» с яркостью иногда удивительной, с удивительной не-духовностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью.

Но не один он в России из процветших и процветающих. Вести доходят. Писатели обставлены там отлично. Гонорары огромные. Книги переводятся на несколько языков в самой России (татарский, калмыцкиий, может быть, и якутский). Пьесы приносят много тысяч. Либретто оперы — рента пожизненная. Сергей Городецкий (по молодости тоже приятель) переделал «Жизнь за царя» в «Ивана Сусанина» и получает по тысяче рублей за представление. У Катаева своя дача. Симонов миллионер, Эренбург подписывает 15 тысяч на заем. У кого виллы нет, может ехать в дом отдыха в Крым, на Кавказ, под Воронеж (недавно читал премилые очерки некоего Паустовского — как раз об этом воронежском «Монрепо»).

Есть премия, есть ордена. Премий порядочно, размер тоже немалый, — кто получает 50 тысяч, а кто 100 и 200. Орденоносцам особое уважение — скидки, поддержки. Одним словом, живи да работай. Но не зевай. А то будет плохо. Усмотрят неподходящее, так уж не жалуйся.

Пильняка я тоже хорошо помню и лично знал. Он одно время гремел. По всему миру ездил. Какие банкеты устраивали ему в Америке! Что в Москве он выделывал! А потом — «Повесть о непогашенной луне»... — и сорвался, исчез, сгинул. Кажется, погиб в ссылке. О самоубийцах уж не говорю — так писатели преуспели, что и Есенин, и Маяковский, и Соболь, и несчастная Марина Цветаева «почтительно билет возвратили». А Гумилев, Мандельштам?

Алексей, слава Богу, нигде не свихнулся. В опалу не попал, умер пышно, как жил. Теперь место его, кажется, занял Симонов. Дай Бог ему здоровья. Председатель Союза писателей, заседает в знакомом мне особняке Герцена. Талантливый человек (но не очень, с лубочной прослойкой). И все-таки за него

жутко — говорю серьезно и по-человеческому. Ведь были Зощенко и Ахматова, все шло благополучно, а потом... Чем же он застрахован?

* * *

Эмигрантство есть драма и школа смирения. Это разговор длинный, отдельный. Драму свою эмигрант-литератор знает. Но вот речь зашла о российских собратьях, о воспоминаниях, о чужих судьбах. Могут спросить — как же относится здешний писатель к ремеслу своему в России: жалеет ли, что с Толстым не поехал, завидует ли дачам, автомобилям и тысячам?

Ответ простой (за себя): не жалеет. Каждый живет, как ему следует. «Сии на конях, сии на колесницах, а мы именем Господа Бога нашего». Одни банкиры и миллионеры, а другие пешёчком или в метро. И без вилл. Это ничего. Зато вольны. О чем хочется писать — пишут. Что любят, того не боятся любить. Какой образ художника получили в рождении, какой дар у кого есть, тот и стараются пронести до могилы. В меру сил приумножить. А богатство, успех... Нет, зависти нет.

Есть другое. За многое мы жалеем собратьев наших. Жалостью не высокомерною, а человеческой. Мы желаем им хартию вольности, желаем тем из них, кто художники, а не дельцы, чтобы их художество могло процветать свободно. Чтобы страшный склад жизни не уродовал человека. Чтобы голоса стали людскими, а не грамофонными. Чтобы они ничего не боялись.

...Ну, а может быть, и Алексей иногда боялся, при жизни? Но теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то.

1947

АХМАТОВОЙ

Показать бы тебе, насмешнице,
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей...

Я Вас встретил, Анна Андреевна, всего раз, Бог знает когда, в 1913 году. Веселая ли Вы были грешница, царскосельская ли насмешница, не знал — да и встреча была беглая, в Петербурге, в «Бродячей собаке». Все мы тогда (говорю о круге литературном) жили довольно беспечно, беззаботно и грешно, о будущем не думали, ничего не подозревали (кроме Блока и Белого: те предчувствовали).

Вот и Вы мне показались, в этой Собаке кабаретно-артистической, среди гама и шума, вина, распущенности, песенок Кузмина, разных «Паллад» тамошних, выкриков Бориса Пронина — конферансье — юной элегантной дамой, остролицей и изящной, избалованной, слегка с ужимкой — похожей на портрет ваш Сорина («Requiem» теперешний).

Мне представили Вас как молодую поэтессу, Вы уже и тогда выдвинулись. Литературно я Вас знал, но мало. Да и позже — не скажу, чтоб очень. «Четки» и другие книги. Всё изящная дама.

Но вот грянуло. Ураган кровавый, дикий, все перевернувший. Правого и виноватого без разбору косивший. Но некие души и зажигавший. В нем они очищались, росли, достигали всей силы.

Души Чистилища. Всем живым, грешным, но с зерном горчичным, предстояло пройти сквозь это. И Пастернаку, и Вам, и еще другим. Пастернак раскланялся с Маяковским. Вы — с Бродячей Собакой: была она даже мила, богемна, но не по масштабу. Буря Вас взрастила, углубила — подняла. Кто не знает, что такое — биться головой об стенку, тот не видел революции.

Некогда Достоевский сказал юноше Мережковскому: «Молодой человек, чтобы писать, страдать надо». Если бы Достоевский не стоял у столба смерти и не побывал в «Мертвом доме»... — был ли бы он вполне Достоевским?

Вы ни в ссылке, ни в «Мертвом доме» не были, но около него стояли. Бились ли дома головой об стенку за близкого — не знаю. Но искры излетели из сердца. Вылетели стихами, не за одну Вас, а за всех страждущих, жен, сестер, матерей, с кем делили Вы Голгофу тюремных стен, приговоров, казней.

Вот о них, как и о себе, Вы и сказали позже:

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

С даром поэзии Вы родились. Вначале безраздумно расточали, но Судьбе угодно было по-другому:

Чашу с темным вином
Подала мне Богиня печали.

Вот и выросла «веселая грешница», насмешница царскосельская — из юной элегантной дамы в первую поэтессу Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно-звенящим, стала как бы глашатаем беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости.

В эти отмеченные Вами дни обращаюсь к Вам, Анна Андреевна, с низким поклоном — от собственного человеческого сердца, от сердца старшего литературного собрата и, смею думать, от лица многих почитателей Ваших.

Храни Вас Бог. Дай сил и здравия.

1964

АЛДАНОВ

С Алдановым мы встретились в то давнее время, кажущееся теперь чуть не молодостью, когда мы еще только покинули Россию (и казалось, вернемся!) — Берлин 1922-23 гг. Большая гостиная русского эмигранта. В комнату входит очень изящный, худенький Марк Александрович с тоже худенькой, элегантной своей Татьяной Марковной. Как оба молоды! Южане — из Киева — русские, но весьма европейцы. Помню, сразу понравились мне, оба красивые. И совсем не нашей московской закваски.

В России Алданова я не знал ни как писателя, ни как человека. Он только еще начинал, первая книга его «Толстой и Роллан» вышла во время войны 14-го года. Он вполне писатель эмиграции. Здесь возрос, здесь развернулся. Тридцать пять лет этот образованнейший, во всем достойный человек с прекрасными глазами поддерживал собою и писанием своим честь, достоинство эмиграции. Писатель русско-европейский (или европейский на русском языке), вольный, без пятнышка. Без малейшего следа обывательщины и провинциализма — огромная умственная культура и просвещенность изгоняли это.

Вскоре после первой встречи я получил от автора только что вышедший роман его исторический «Девятое Термидора». Сейчас он стоит у меня на полке в скромном, но приличном переплете, а тогда вид его очень скоро стал просто аховым: во-первых, мы с женой, читая наперегонки, разодрали его надвое, каждый читал свою половину. Потом его без конца брали у нас знакомые — позже переплетчику немало пришлось подклеивать и приводить в порядок.

Это был дебют Алданова как исторического романиста. Большой успех у читателей, но позже дал он вещи более со-

вершенные — «Чортов мост», особенно «Заговор» (эпоха Павла I-го и гибель его). Да и многое другое. (Мне лично и нравился, и сейчас очень нравится «Бельведерский торс» — довольно мало известное писание Алданова.)

Заканчивал он жизнь свою «Истоками» — два тома уже почти из нашего времени, террористы 70-х гг., народничество, убийство Александра II-го — вещь, думаю, из центральных и важнейших у Алданова. Кроме романов исторических — много блестящих очерков тоже из истории — его особенно тянуло к политике и государственности, а внутренний тон всего, что он писал, всегда глубоко-печальный, экклезиастовский. Был он чистейший и безукоризненный джентльмен, просто «без страха и упрека», ко всем внимательный и отзывчивый, внутренне скорбно-одинокий. Вообще же был довольно «отдаленный» человек. Думаю, врагов у него не было, но и друзей не видать. Вежливость не есть любовь, это еще Владимир Соловьев сказал (выразился даже решительнее).

Вся моя эмигрантская жизнь прошла в добрых отношениях с Алдановым. Море его писем ко мне находится в архиве Колумбийского Университета (Нью-Йорк). Да и я ему очень много писал, и это все тоже там.

В начале мая 1940 года, когда Гитлер вторгся во Францию, мы в последний раз сидели в кафе Fontaines на площади P[te] de S[t] Cloud. Алданов, Фондаминский (Бунаков) уезжали на юг, мы с женой оставались, и в затемненном Париже, на самой этой площади в последний раз со щемящим чувством пожали друг другу руки и расцеловались.

Но все же пережили беду. Все вновь встретились через несколько лет. Алданов оказался в Америке, там и написал «Истоки» свои — как уж сказано. Очень искусно изобразил террористов и превосходно написал цирк и людей цирка — за океаном близко познакомился с ними, а в романе и деятели политики, и акробаты, наездники, вообще циркачи поданы как люди «тройного сальтомортале», с явным перевесом, просто настоящей симпатией к цирку. Истинная расположенность его, и чуть ли не единственная во всем писании алдановском — именно к простым, нехитрым типам цирка, профессией своей занимающимся по необходимости, не крикливым и не собирающимся переделывать человечество или вести за собой Историю. В этом оказался он верным последователем Толстого (которого вообще обожал), Толстого с незаметными капитанами Тушиными и Тимохиными, смиренно геройствующими за спиной

театральных военных. (Не выигрывая сражений, люди цирка тоже вечно рискуют жизнью.)

Гитлера все мы как-то пережили, он исчез (тоже человек тройного сальтомортале), а Марк Александрович возвратился в любимый свой «старый свет», Европу с вековой культурой и свободой ее. Во французско-итальянской Ницце и кончил дни свои по библейскому завету: «Дней лет человека всего до семидесяти...» Приезжал в Париж — очень его любил, и как в мирные времена, так и после войны — нередко заседали мы в том же кафе Фонтен на той же площади перед фонтанами, где расставались глухой ночью майской 40-го года. А потом настали и для него, и для меня... дни февраля 1957 года, и расставание оказалось уже навечным.

В России не знают его как писателя вовсе. На Западе он переведен на двадцать четыре языка. Но придет время, когда и в России узнают, только Марк-то Александрович из могилы своей ниццкой ничего не узнает об этом.

ОСОРГИН

Я познакомился с Осоргиным в Риме в 1908 году. Он жил за Тибром, не так далеко от Ватикана, в квартире на четвертом или шестом этаже. Изящный, худощавый блондин, нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо.

Был он в то время итальянским корреспондентом «Русских ведомостей», московской либеральной газеты, очень серьезной. Считался политическим эмигрантом (императорского правительства), но по тем детским временам печатался свободно и в Москве, и в Петербурге («Вестник Европы» — первые его беллетристические опыты).

Нам с женой сразу он понравился — изяществом своим, приветливостью, доброжелательством, во всем сквозившим. Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души.

Нас он в Риме опекал, как ласковый старожил приезжих.

Быстро устроил комнату, указал ресторанчик, где и сам столовался и который оба мы потом «воспели» (не в стихах, конечно): «Piccolo Uomo» назывался он — «Маленький человек». Хозяин был низенький толстячок, держал дешевый ресторанчик на Via Monte Brianza, около Тибра — пристанища международной литературно-художественной богемы. По ранне-осеннему времени завтракали в садике, под божественной синевы римским небом. Плющ, виноград, обломки «антиков», статуэтка полукомическая самого хозяина — дар юного немецкого скульптора, и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородками, с видом карбонариев — среди них и sor Michele, тоже в артистической шляпе, с летящим галстуком, приветливым похлопыванием по плечу, дружеское рукопожатие с хозяином... Поэзии и простоты этой жизни нельзя забыть. «Там, где был счастлив» — название одной из лучших книг Осоргина, где много сказано и о том времени, и об Италии, и о Piccolo Uomo, и о приятеле осоргинском, не то поваре, не то прислужнике (Кокко назывался он уменьшительно-ласкательно).

Волна молодости, света и красоты несла тогда и его и нашу жизнь. Во многом sor Michele в эту волну вводил, и в самом Риме, и позже в Cavi, где устроил нас в чудесной рыбацкой деревушке на побережье генуэзском. Там тоже русские эмигранты жили — и это самое Cavi тоже мы с ним в писаниях своих не раз добром помянули.

Незадолго до войны графиня Варвара Бобринская стала устраивать (первые в России) групповые поездки молодежи в Италию. Сельские учителя из захолустья, учительницы разные, курсистки, студенты почти даром посещали Италию — так графиня устроила. Итальянцы называли это «caravani russi» — на улицах Флоренции и Рима сразу можно было выделить из толпы эти группы странных, но скорее симпатичных юных существ.

Лучшего водителя по Риму, да и другим городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать — он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неутомимостью. Живописно ерошил волосы свои. Несомненно, некие курсистки влюблялись в него на неделю, учителя почтительно слушали. Народ простецкий, мало знающий, но жаждущий. (Около Боттичелли в Уффици один учитель спросил: «Это до Рождества Христова или после?»)

Осоргин все показывал, выслушивал, изящно изгибаясь, объяснял, а иногда и выручал из малых житейских неприятностей.

В революцию Михаил Андреевич вернулся в Москву и в 21 году меня уже выручил: устроил в Кооперативную Лавку Писателей на Никитской, чем избавил от службы властям и дал кусок хлеба.

А осенью того же года засели мы с ним и с другими «интеллигентами» московскими в Чека — за участие в Обществ. К-те Помощи голодающим (тогда сильный был голод в Поволжье). На Лубянке, в камере, где мы сидели, его избрали старостой или старшиной, чем-то в этом роде, и он был превосходен: весел, услужлив, ерошил волосы ежеминутно на голове, представительствовал за нас перед властями. Меня очень скоро выпустили как «случайного», а он, Кускова, Прокопович и Кишкин долго просидели как «зачинщики». Этих троих последних спас от смерти Нансен, но все были потом высланы на восток — Осоргин, помнится, в Казань.

Он в Москву все-таки вернулся. Но в 22 году, с группой писателей и философов, выслан был окончательно заграницу. Стал окончательно эмигрантом — и занялся беллетристикой в гораздо большей степени, чем раньше. Собственно, здесь он и развернулся по-настоящему как писатель. Главное свое произведение «Сивцев Вражек», роман, начал, впрочем (если не ошибаюсь), еще в Москве, но выпустил уже заграницей. Роман имел большой успехх. И по-русски, и на иностранных языках — переведен был в разных странах. Вышли и другие книги его тоже здесь: «Там, где был счастлив» в 1928 году в Париже, «Повесть о сестре», «Чудо на озере», «Книга о концах», «Свидетель истории» и пр.

Оказался он писателем-эмигрантом, сугубо-эмигрантом: ничто из беллетристики его не проскочило за железный занавес, а тянуло его на родину, может быть, больше, чем кого-либо из наших писателей. Но его там совсем не знают. Да в России пореволюционной ему не ужиться бы было: слишком он был вольнолюбив, кланяться и приспособляться не умел, а то, что ему нравилось, не пришлось бы по вкусу **там.** Думаю, его быстро скрутили бы, отправился бы он вновь — только не в Казань на вольное все же житие, а в какую-нибудь Воркуту или Соловецкий лагерь, откуда не очень-то виден путь назад.

Но и здесь жизнь его оказалась недолгой. Подошел Гитлер, все треволнения войны и нашествия иноплеменных — этого он тоже не мог вынести. И с женой своей, Татьяной Алексеевной, отступил за черту оккупации, куда-то на юго-запад Франции. Годами вовсе еще не старый, но надломленный — многолетние

треволнения дали о себе знать, сердце не выдержало. И в глухом французском городке, тогда еще не занятом, «в свободной зоне» этот русский странник, вольнолюбец и милый человек скончался.

1964

О РЕМИЗОВЕ

> О поле, поле, кто тебя
> Усеял мертвыми костями...

Дальние времена, начало века. Мы с женой, молодые еще, приезжаем по временам из Москвы в Петербург, по делам литературным: там наш Гржебин — «Шиповник», первый мой издатель. Там журнал «Вопросы жизни». Его редактор — «мистический анархист» Чулков, из моих близких. Секретарь редакции Ремизов, Алексей Михайлович.

«Вопросы жизни» был толстый ежемесячный журнал модернистско-христианского направления. Первые скрипки в нем — Булгаков (тогда еще не священник), Бердяев. Но и Мережковский, Гиппиус, Розанов. Из совсем молодых Блок, Ремизов, Чулков и я.

Квартира у этих «Вопросов» была большая. В одной части ее жил Чулков с женой, на другом конце Ремизов со своей женой Серафимой Павловной и дочерью, совсем маленькой Наташей. Между Чулковым и Ремизовым редакционное пространство.

Алексей Михайлович Ремизов того времени — худенький, вихрастый, в очках и уже горбящийся молодой человек, автор романа «Пруд», вещи трудной и неблагодарной, вокруг которой многое ему приходилось претерпевать — не помню точно, все же кажется, что ее печатали в «Вопросах жизни» («с великим»... ну, скажем, «напряжением»). Но где-то и когда-то, во времена третичной эпохи, я ее читал — безрадостно.

Худенький человек в очках, подвластный своей мощной супруге, как будто и невидный, но и ни на кого не похожий по внутреннему миру, затаенный, пришибленный и уязвленный, фантасмагорист, с колдовской прослойкой, очень умный и одаренный, склонный подшутить втихомолку и даже не без яду,

но по пустякам. Кажется, этим занимались они сообща с Розановым (в некоем смысле это были два сапога пара).

* * *

Встретились мы впервые в Петербурге, в 1906 году, и российское знакомство шло все там же. А были оба из Москвы, и он гораздо более, чем я. Коренной москвич, как и моя жена — духом из Москвы, землей ее вскормленный.

На Садовой, в Москве, около Курского вокзала, было два соседних особняка: Орешниковых и Найденовых. Оба с садами, службами, просторами. Найденовский более роскошный, сохранился и поныне. Одноэтажный ампир, благородный стиль, воспроизводится в художественных изданиях. Орешниковский меньше, архитектурой не замечателен, просторный тоже, комнат с десяток, сейчас его вовсе нет: возведены на его месте и вокруг огромные дома.

Мать Ремизова была урожденная Найденова, замуж вышла за мелкого служащего Ремизова — брак неравный с точки зрения мещанской. Родила несколько мальчиков — среди них Алексея — рано потеряла мужа и осталась без средств. Братья устроили ее у себя, но в каком-то флигельке, и жизненно — на задворках: она нищая вдова, живет из милости. Они — баре, от купечества московского. Думаю — это первое, что сгорбило и внутренне Алексея Михайловича с ранних лет: детство полуприживальщицкое.

Орешниковы рядом, тоже «буржуазного» происхождения, но другой стиль. Алексей Васильевич Орешников, мой тесть, был археолог с европейским именем, специалист по скифским древностям, управлял Историческим музеем.

У Ремизовой мальчики, у археолога пять девочек, веселых, резвых шалуний. (Одна из них оказалась позже моей женой.) Много лет спустя, уже в Париже, Алексей Михайлович рассказывал, что водиться с орешниковскими соседками им запрещалось: слишком бойки. (Сами же Ремизовы-младшие были еще проказливей, но в другом, замысловато-затейном и отчасти издевательском духе.)

У самого Алексея Михайловича склонность к фокусам, «штучкам» сохранилась до зрелости. Первые встречи с ним в Петербурге были довольно отдаленны и прохладны. Он замкнутый, с внутренним изгибом и надломленностью, я тоже не нараспашку, оба самолюбивые и застенчивые. Моей жены он как будто бы и стеснялся: слишком знала она его раннюю, с дет-

ства, придавленность и обиженность. Да и позже всё давалось ему нелегко в жизни, мы с женой рядом с ним казались баловнями, белоручками.

Во всяком случае, в ту, раннюю полосу знакомства мы были далеки. Он как-то не входил в мой круг, а я в его.

Помню мелкий литературный случай, он не «случаен» и Ремизова отчасти рисует.

В одном из журналов тогдашних был напечатан рассказик мой «Океан» — плохенькая штучка, я его и в книги не поместил. Фантазия романтическая, навеянная Капри. «Герой» бросается под конец с горы в «океан» и летит **полторы минуты**. Мне тогда казалось, что ничего, лететь-то ведь немало. Но хитроумный Алексей Михайлович, ухмыльнувшись, вероятно, стал высчитывать — получилось: гора высотой в **шестьдесят верст!** Многовато. Я на это не рассчитывал, но среди литераторов петербургских не один Ремизов, конечно, ухмыльнулся.

А было литераторов немало. Эти годы, начала века, до войны, злачны были для литературы нашей — не напрасно названы они серебряным веком. Так оно всегда и бывает: в затишье «цветут Музы», войны и революции меняют жизнь, но не рождают искусства.

Перед войной Ремизова стали больше печатать, а когда возник «Сириус», богатое издательство меценатское, в Петербурге, то стали выходить довольно обильно и его книги. (В «Шиповнике» он тоже печатался, в альманахах.)

Но судьбы загадочны и неуловимы. Пришла война, революция все разметала, и всех нас порасшвыряло, кого куда: Блок, Ахматова, Горький, Кузмин в России остались и легли в русскую землю, большинство же тогдашних развеялось по краям западным, в том числе и мы с Ремизовым. Как почти все «наши», поколения нашего, оказались в Париже, насельниками Отей, Пасси. Здесь жили, здесь трудились, здесь и умирали. Из моих сверстников и старших меня все тут успокоились. Вокруг — кладбище: русская литература начала века.

* * *

Ветры после революции улеглись не сразу. Последняя волна вновь разбросала — кого в Грасс, кого в Америку.

Недавно, проходя по av. Mozart, я заглянул в тупичок Villa Mozart — там некогда жил Ремизов с Серафимой Павловной (дочь стала уже взрослой, из России не уехала и погибла где-

то на юге от немцев). Изменился тупичок с тех пор, как некогда читал здесь Ремизову и мне свой рассказик Мочульский!

И многое переменилось в жизни для меня,
И сам покорный общему закону,
переменился я.

Был подвержен «закону» и Ремизов. Позже, во время этой (опять!) войны, жил он уже на rue Boileau, там Серафима Павловна скончалась, и он остался один, слабый, полуслепой. Там выжил только благодаря друзьям — друзья-то оказались верные, больше, конечно, женщины, вековой облик милосердия, почти двухтысячелетний. (Были и мужчины, но гораздо меньше.)

Дело поставили серьезно, почти «научно». Роли распределены. Одна заведует корреспонденцией, другая чтица. Особенная кухонная женщина, попроще, в доме живет и готовит. Одна — главноначальствующая, главковерх, одна — писательница преданная, вроде начальника штаба. Невидимая (редко показывалась, но часто присылала «чего бы покушать»). Квартирными, налоговыми делами ведал ее муж. Преданный человек из шоферствующих — по «общей деятельности». А затем дилетанты-любители вроде меня: поговорить, что-нибудь вслух прочесть.

Дамский отряд и панихиду устраивал ежегодно по Серафиме Павловне — в церкви — сам Алексей Михайлович уже не мог бывать, но день считался торжественным и потом все к нему собирались на чаепитие.

Еще в давние времена, сорок лет назад, подарил он мне к юбилею замечательный альбом собственного производства — любил рисовать и разделывать всякие штуки (в то время еще порядочно видел, хотя всегда был близорук — с «Подстриженными глазами»). Надо было его терпение, чтобы подобрать и фотографии мои, с детских лет, и писать разные «грамоты», все мы, пишущие, считались членами «Обезьяньей Вольной Палаты», он — генеральный секретарь этого «Обезволпала» — по временам производил повышения в фантастических чинах наших, давал похвальные грамоты (мне к юбилею) — всё это написано стилем и почерком XVII века, скреплено печатью Обезьяньей Палаты, с клоком какой-то шерсти — «обезьяньей», конечно.

Он любил рисовать. Странным образом, рисунки его, всегда фантастические, являли как бы сочетание древнерусского книжничества с самоновейшим сюрреализмом. Или абстракт-

ной живописью. Думаю, они были даровитее многого хлама, которым теперь торгуют — и успешно — ловкачи. Ремизов природно был чудодей, всё в нем изначально искривлено, фантастично и перепутано, непролазные дебри. В юности горбился, к старости стал совсем горбатым, меньше ростом, конечно, в очках, с редковатым ежиком на голове. Злобности Черномора в нем совсем не было, напротив, ко всем обездоленным всегда сочувствие, но некое и ехидство таилось в умных глазах. Подшутить, дать прозвище (одну даму называл он «Солдат», верно, и меня как-нибудь называл, но своей клички не знаю).

Вообще же был существо особое, но таким создан и неповторим. Может быть, и юродство народное времен тезки, Алексея Тишайшего, отозвалось, но органически: этого не подделаешь. Допускаю, что сам он эту знал свою черту и несколько ее в себе выращивал.

Когда был не столь немощен еще, сам ходил по французским редакциям, закутанный в какой-то небывалый шарф, плохо видящий и беззащитный. Приемная Плона какого-нибудь или Галлимара мало походила, конечно, на паперть собора Московского триста лет назад, но талантливейший русский писатель смахивал, конечно, на своего дальнего предка с этой паперти. На французов (как мне рассказывали) он производил впечатление чуда-юда, отчасти ошеломляющее и располагающее.

В авангардных изданиях его иногда печатали. Что доходило в переводе до французского читателя, не знаю, но появлялись и книги, конечно, тиражами «на любителя».

Вот это, кажется, главная была его страсть: печататься. Он и по-русски печатался довольно много (число его книг мне называли — боюсь повторять, что-то уж слишком много, но что «немало» — ручаюсь). Печатался и в газетах, и в журналах. У нас, в «Русской мысли» того времени, много появлялось очень милых его вещичек «стиль рюсс» чрезвычайно. Этим я обычно занимался. Он давал мне текст, я по напечатании носил ему гонорары — скромные, но честные эмигрантские златницы. Небогато, но ему и это нравилось.

Он всегда, когда я входил, сидел за столом своим, в очках, в пледе каком-нибудь на плечах, курил, черная клеенка стола в желтоватой россыпи табачной, пепельница, окурки. Но не столь он видел, чтобы в пепельницу эту попадать. Встречались всегда дружественно. Он благодарил, гладил ласково бумажные скудные златницы (эмигрантские!), прятал в ящик письменного стола.

— Хорошо... вот это хорошо. Спасибо.

Прежде, когда лучше видел, много рисовал — фантастические свои загогулины. Теперь уже не до рисования. Дай Бог имя свое подписать членораздельно. Все же писал он иногда «письма»: несколько строк наобум, бедными кривыми буквами, строки вниз сползали непрестанно — горький вид последней борьбы с немощью. Ум же — ясный, слов мало, но не зряшных.

— А как доктор африканский поживает?

(Так он звал одного преданного ему писателя-врача, тот одно время служил в Африке.)

После долгих блужданий рукой со спичкой зажигал, наконец, папиросу.

— Давно не был. Да... А я собираюсь возвести его в главные хранители. В великие хранители обезьяньего знака.

Этот «африканский доктор», ныне уже тоже успокоившийся, прежде водил его гулять под ручку, помогал ванну брать, вообще смиренно действовал по домашним надобностям. Алексей же Михайлович был теперь уже вполне беспомощным. Главным развлечением его были посетители и чтение вслух. Это все друзьями было поставлено основательно, говорить не приходится.

В июне 1957 года ему исполнилось восемьдесят лет. В «Русской мысли» был номер с его портретом, приветственными статьями. Поздравляли и на дому. От Союза писателей отправились мы с А.А.Шиком. Это горестный был год для меня: тяжко и безнадежно заболела жена. Ремизов близко принимал к сердцу — в Париже он уже ее не стеснялся, напротив, оказалась она для него отзвуком давней Москвы, юности. Он к ней дружески теперь относился, беду ее очень ощущал.

— Денег надо побольше теперь... денег. Уход хороший. Это трудно, а надо. Денег, денег. Лечить.

Говорилось это не равнодушно. (Сам пережил не так давно Голгофу Серафимы Павловны.)

Вот и пришли мы к нему с Александром Адольфовичем «от Союза». Я начал что-то поздравительное, но в горле спазма, пробормотал несколько слов, мы обнялись и заплакали.

* * *

Редко к кому смерть легко приходит. Так вышло и с Ремизовым. Чуть ли не последней эта встреча наша и оказалась. Вскоре болезнь его усилилась, он задыхался, над ним воздви-

гали палатку кислородную для облегчения. Тут уже не до чтения вслух. И вообще не до посетителей.

Он умер в ноябре того же 57 года, оставив по себе наследство многих книг, редкостно-своеобразных, трудно читаемых: «для немногих». Как во времена «Сириуса», теперь, в закатные годы, больше его печатали, чем в молодости, — и в «YMCA-Press», и в Чеховском издательстве. Одна из лучших его книг, «Подстриженными глазами» (очерки-образы, воспоминания о Москве юных лет), вышла здесь в Париже, в «YMCA-Press».

Жизнь тяжелая и отшельническая, глубоко, исключительно даже писательская, проходила передо мной шестьдесят лет. И прошла. Теперь уж, из моих сверстников, некому проходить.

1968

О ШМЕЛЕВЕ

Вы спрашиваете меня об Иване Сергеевиче Шмелеве, что я о нем знаю, что помню. Вопрос законный, отвечаю охотно.

Оба мы москвичи, современники, но так сложилось, что именно в Москве мало знали друг друга. В годы до первой войны он не был членом кружка «Среда» (Леонид Андреев, Бунин, Телешов, Вересаев и др. — временами Короленко, Чехов, Горький). Там прошла моя юность. Не был в наших «Зорях», более молодом и «левом» (литературно) содружестве. Не ходил и в Литературный кружок — Клуб писателей и артистов на Большой Дмитровке.

Иван Сергеич был человек замоскворецкий, уединенный, замкнутый, с большим внутренним зарядом, нервно взрывчатым. В Замоскворечье своем сидел прочно, а мы, «тогдашние» от литературы, гнездились больше вокруг Арбатов и Пречистенок. Тоже Москва, но другой оттенок. В Замоскворечье писатель неизбежно одинок.

Где и когда мы познакомились? Теряется это во тьме времен доисторических. «Среда» расширилась, из частных квартир перекочевала в Литературный кружок, менее стала домашней. Шмелев в это время уж автор «Человека из ресторана» — первый большой его успех.

В этом Литературном кружке, наездами из деревни, встречал я его иногда, но бегло. На его чтения не попал ни разу (просто потому, что приезжал в Москву редко, ненадолго).

А потом мы оказались сотоварищами по «Книгоиздательству писателей», делу кооперативному, где и Бунин состоял членом «артели» литературной, и Алексей Толстой, недавно появившийся талант, и Шмелев, Вересаев, я.

Выпускали альманахи. Дело процветало, книги шли отлично, гонорары писателям тоже (мы сами были и хозяевами).

Подошла революция. Книгоиздательство довольно долго

держалось. Но «сосьетеры» разъезжались. Раньше других Бунин с Толстым, потом Шмелев, даже Вересаев.

Страшное время. Террор, кровь, расстрелы заложников, гражданская война, массовое истребление молодежи. Мы с Иваном Сергеичем испили свою чашу — гибель близких (юных!).

В Крыму был расстрелян его сын, молоденький офицер Белой Армии. Это произошло вдали от меня, но, зная Шмелева (хоть и поверхностно), его наэлектризованность, силу душевных движений, могу себе представить (да и сам имел опыт!), до какого отчаяния доходил он. Думаю, до некоей грозной грани...

Теперь и для него, и для меня Россия за горами, за долами. Встретились мы снова на чужой земле, в Берлине 1922 года. Помню, поразил он меня своим видом. Черные очки, бледность, худоба, некая внутренняя убитость — все понятно, все понятно, кончено...

В Берлине никак не мог он еще расправиться, выпрямиться и возопить. А потом принял нас всех Париж. Тут понемногу он оправился. Полагаю, как и не в нем одном, революция и ее муки обострили, повысили у него религиозное чувство и чувство Родины, Руси. Тут написал он одно из самых страстных своих произведений — «Солнце мертвых», тут появились и вообще лучшие его писания: «Лето Господне», «Богомолье». Это уже восторженные какие-то слезы (но сдержанные) о Москве, детстве, Замоскворечье. По силе вещественного воспроизведения с ним может равняться только Бунин, но подспудным духовным пылом Шмелев его превосходит — православным пылом (чего у Бунина вообще не было).

Как и в Москве, жил в Париже Иван Сергеич довольно уединенно, под сердечной опекой верной супруги. Читали его много. Думаю, он и Алданов были наиболее читаемые писатели эмиграции (разных, отчасти даже противоположных ее слоев).

Как и в Москве, встречались мы не особенно часто, но отношения всегда были добрососедские, доброжелательные.

Вместе переживали и немецкую оккупацию. Ремизов, он да я только и оставались тогда в Париже из старших. Это тоже сближало. Судьба не очень щадила Ивана Сергеича: уже в Париже супруга его скончалась. Удар тоже страшный. Остался совсем один. Здоровье сдавало, нервность росла, худоба тоже. Жил он на rue Boileau, в отейско-пассийском квартале, обиталище почти всех писателей «древних». И тут ему не везло. Бомба союзническая разорвалась на другой стороне улицы, как

раз напротив его квартиры — ничего не осталось от домишки, а у Ивана Сергеича все стекла из окон вылетели (этим, впрочем, нашего брата не удивишь: в моей квартире тоже все окна были разбиты, а пол засыпан мусором).

Мы с женой заходили иногда к нему. Он был уже полубольной, но приветливый, более смирный чем прежде, хотя в меру сил воодушевлялся — может быть, ему приятно было и то, что свои люди, московские, хоть и с Арбата.

Вот некий вечер, он в халате отворил нам, потом извинился, лег, но сейчас же закипел. Был уже очень худ, но жив, внутренно. Не помню точно, что он говорил, но с жаром и воодушевлением. Лампочка электрическая отбрасывала на стену его тень — угловатую, остроугольную, с всклокоченной головой. Тощей рукой потрясал он в воздухе, и тень от руки этой прыгала по стене. Волнуясь, запахивая на груди халат, громил он — известно кого! — знал, что среди «своих». Семнадцатый век, протопоп Аввакум, вот сейчас-то покажет из костра, где сгорает, два перста, обращенных к Небу.

В пятидесятом году друзья свезли его в Bussy-en-Othe в тот дом покойного В.Б.Ельяшевича, где в начале сороковых годов провели мы с женой два лета. Теперь там была женская обитель и пансион при ней.

Он очень ослабел. Утомил ли еще и путь (около 200 килом.), или час пришел «его же не прейдеши», только в день приезда, чуть ли не сразу же, в бывшей нашей с женой комнате он и скончался.

Мы хоронили его на кладбище Ste Geneviève des Bois, пристанище эмигрантском замечательном, где лежит почти вся старшая литература изгнания, очень много и Белой Армии.

Карташев сказал надгробное слово. Друзья, сочувственники русского писателя поочередно подходили, и лопаточки с прощальною землей — любовью подымались, опускались над раскрытою могилой.

Всему этому восемнадцать лет. Карташев лежит недалеко. Моя жена много дальше.

Ивану Сергеичу Шмелеву, большому настоящему писателю российскому — низкий поклон, вечная память.

1968

ДРУГИЕ И МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Прочитал список погибших («Известия Литер. Фонда») — все писатели, поэты, критики: «арестован», «пропал без вести», «расстрелян», «покончил с собой». Список длинный, есть имена общеизвестные, некоторых знал лично.

Есенина помню юношей-пастушком, кудреватым, довольно славным, но не моего романа. А потом заходил он к нам в Лавку Писателей на Никитской уже в шубе, чуть ли не в цилиндре, залихватски и совсем в моветонном роде. Начиналась его история с Дункан — для обоих бесславно кончившаяся.

Борис Пильняк был рыжеватый литератор, приходил иногда ко мне, в нем всегда чувствовалось пестрое, мутное. Природных сил довольно, а как их прилагать, неведомо. Прежний стиль свой (довольно бледный) он сменил на нечто по наследству от Белого. Получалась сумятица, с темпераментом, но без толку. Ему нравилось земляное, плотское. В революции привлекала стихия и разнузданность, думаю, нравился ему и разбойный дух ее — т.е. первых ее шагов.

Однажды мы выходили с ним из моей квартиры в Кривоарбатском: был вечер, мрачно.

— Вот вам кровь не нравится, — говорил он. — Насилие. А на крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого. Возьмите Петра Великого. Они правы.

— Всё равно, ненавижу. С детства терпеть не мог и уж теперь навсегда. Никогда не приму.

— Да, конечно, вам неподходяще.

Потом через минуту.

— Поедем к Коненкову. У него отличная мастерская. Там будет Есенин, Дункан, имажинисты. Выпивка настоящая.

У меня был свой круг, веселились иной раз и мы, но по-другому, и чокались по-другому. С имажинистами я не пожелал.

Позже и оказалось, что в тот вечер творились в мастерской

Коненкова великие безобразия. Напаивали Есенина и Дункан, и прочее, прочеее — подробности нерассказуемы...

Прошло время. Пильняк очень прославился. Ездил по всему свету (не по-эмигрантски), в Америке ему устраивали банкеты, говорили речи. Но потом как-то вышло, он написал «Повесть о непогашенной луне» (смерть Фрунзе после «приказанной» операции) — и со своим своеволием, стихийностью земляной, резкостью попал в немилость. А там в ссылку и под пулю... «На крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого».

А Есенин, дарование простодушное и пронзительное, но изломанное, тоже русский безудерж, тоже в конце концов нигилизм — Есенин в петлю.

Страшное время. Аминь, аминь, рассыпься.

* * *

Абрам Эфрос, секретарь Союза писателей в Москве. Это просто интеллигент, быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической куртке — свой человек, но примитив, его дружески звали «Бам», он всегда в хлопотах, что-то устраивает, читает и пишет, увлечен искусством и литературой (у меня сейчас в руках его книжечка «Автопортреты Пушкина» 1945 г.).

— Ах, Бам, Бам, отчего не выслали вас в 22 году вместе с профессорами, писателями в Германию? Были бы вы и сейчас живы. Писали бы в «Новом журнале», «Новом русском слове», и так как вы много моложе нас, принимали бы из рук старших, коих недолог уже век, завет свободы, человечности, творчества — всего наследия литературы нашей. — Но вас не выслали. Абрам Эфрос, искусствовед, пропал без вести.

Вспоминаю вас — оплакиваю.

* * *

Две барышни, худенькие и миловидные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи — вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева (основателя музея Александра III-го в Москве).

Стишки острые, колкие, барышни читают-щебечут, остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, даровитость уже чувствовалась.

Вспоминая то время, предреволюционное, поражаешься, сколько было поэтов, художников, философов, писателей, «богоискателей»... Марина и Ася тонули в артистическо-литературной среде: почти гимназистки!

Но вот Марина уже повзрослевшая, уже замужем за Эфроном (с удивительными глазами), уже у нее дочь Аля. В нашем кругу небезызвестна. Автор более зрелых и своеобразных стихов, ходит к нам в гости, помаргивая глазами — нервными, острыми, — восторгается Гейне, Германией, одновременно и Ростаном. Читает на вечерах нашего Союза, в доме Герцена. (Подарила мне бюст Пушкина, отцовский еще, огромный. Он стоял на моем шкафу, под него я клал миллионы рублей, на которые можно было купить бутылку вина, два фунта масла. Позже Пушкин этот переехал в Союз писателей, белыми гипсовыми глазами смотрел, тоже со шкафа, как Марина стрекочет свои стихи — им я тогда покровительствовал.)

Но жила она невозможно. Эфрон был «белый», где-то на юге, верно, в эвакуации. Она одна с Алей, в квартире покойного отца, от нашего Кривоарбатского недалеко.

Этого всего не забыть. Везу по московскому снегу на салазках дровишки: у Марины с девочкой — 1 градус. Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам, с намерзшим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров — картина обычная: посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно-мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякой теплой рванью Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые, как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка.

Марина благодарит, но рассеяна, отсутствует. Верней, занята своим. А вот чем: крупными, почти печатными буквами переписывает произведение кн.Волконского (его писанием тогда увлекалась). Остальное неважно. Печка так печка, дрова так дрова.

— Аля, сиди смирно, опять ты там возишься...

— Мама, я крыс боюсь, вон опять за шкафом пробежали. Ты уйдешь, они на кровать ко мне вскочат...

— Глупости, ничего не вскочат...

Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый

день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму.

Иногда Алю приводят к нам, она подружилась с моей дочерью. Ее кормят, отогревают. Ее огромные, серо-выпуклые, с водянистым оттенком глаза смотрят веселей, она играет и хохочет с Наташей.

Весной решили взять ее на месяц в деревню — подкормить, подправить.

Мою мать не выселили еще из именьица, она жила в своем доме, очень скромно, но в сравнении с Алей совершенно роскошно. Молоко, яйца, масло, даже и мясо!

Как дочь поэтессы и девочка вообще даровитая, Аля вначале и вела себя поэтессой: видела необыкновенные сны, сочиняла стихи («Под цыганской звездою любви» — ей было лет семь, она отлично подражала Марине).

Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.

— Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят. Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.

На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.

— Вот это другое дело...

Через месяц уехала Аля в Москву загорелая, розовая — неузнаваемая.

* * *

Марина очень любила мужа, Сергея Эфрона. Когда Аля гостила у нас в Притыкине, Эфрон был белый офицер. Марина возводила белизну его в культ, романтически увлекалась монархизмом, пожалуй, соединила ростановского «Орленка» со своим Сергеем... Стихи писала соответственные.

Началась и для нее эмиграция. И вот Эфрон оказался не прежним белым принцем в поэтическом плаще, а чем-то совсем иным... Как многие тогда, перешел к победителям. Да и попал еще в самое пекло... От бывшего белого офицера много потребовали.

Тяжело говорить об этом — приходится. Я когда-то его знал лично, этот изящный юноша с действительно очарователь-

ми глазами никак не укладывался в «сотрудника», да еще какого учреждения! Но вот уложился. Но вот принимал здесь участие в темном деле — убийство Рейсса, — после чего оставаться во Франции стало неудобно. Он и уехал в Россию.

Как относилась Марина ко всему этому? Не могу сказать. Знаю, что стала не той, что в Москве. Мы разошлись вовсе.

Аля выросла, обратилась в готовую коммунистку. И уехала тоже в Москву. Марина довольно долго влачила здесь одинокую жизнь, от эмиграции отошла, к «тем» целиком не прикрепилась... — но в Москву все-таки уехала. Это понятно. Что было ей делать в Париже? А там муж, дочь, сын. (Кое-где все-таки и тут печаталась. Стихи ее приобрели предельно-кричащие ритмы, пестрота и манерность в слове, истеричность и надлом стали невыносимыми.)

В Москве же «вкусила мало меду». Эфрон, видимо, погиб. (С Рейссом вышла неудача, слишком много шума — неудач там не прощают.) С Алей близости не было. Пробовала печататься — разругали, и дальше ходу уж не было. Одиночество, покинутость. Наступали немцы (авг. 1941 г.). Эвакуация, безнадежность.

Осенью 41 года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.

* * *

«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его».

Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки?

Но сказать — где правда и где неправда — мы можем. Может быть, даже должны крикнуть:

— Отойдите! Не дышите парами серы! «Аминь, аминь, рассыпься!»

1950

Ю.И.АЙХЕНВАЛЬД

Te spectem suprema mihi venerit hora,
Te teneam moriens, deficiente manu.

(На тебя буду смотреть в последний мой час,
К тебе припаду слабеющей рукой.)

Это двустишие, приведенное в одном из моих рассказов, в последнее время занимало Юлия Исаевича. Он дважды писал весною моей жене: «Спросите Б.К., откуда взяты эти стихи?»

Я ответил: кажется, из Катулла. И показалось странным, почему они так пристально его интересуют?

Летом в Берлин приезжала к нему из Москвы жена, Нина Кирилловна — погостила и уехала (вся его семья в Москве). Юлий Исаевич снова остался один. Он жил скромно, почти бедно, писал в «Руле» литературные обзоры, читал лекции, давал уроки. Бессмысленный трамвай раздробил ему череп. Он впал в беспамятство. Не приходя в себя, скончался. Ни на кого не смотрел в предсмертный час. Ни на чью руку не опирался.

Юлий Исаевич был очень замкнут, очень весь «в себе». Он плохо видел, носил очки большой силы. (Никогда не видал звезд. Путешествовал по Италии, но не полюбил ее: не рассмотрел. И смерти своей не увидел.) За этими очками жил глубиной и чистотой души, очень сильной и страстной, очень упорной. Литература, книги — вот его область. Он писал о писателе так, как видел его в своем уединенном сердце, только так, и в оценках бывал столь же горяч, сколь же «ненаучен», как и сама жизнь. Все его писания шли из крови, пульсаций, из текучей стихии. Можно было соглашаться с ним или не соглашаться, одобрять или не одобрять его манеру, но это был художник литературной критики и за последние десятилетия вообще первый русский критик.

Как все страстные, он бывал и пристрастен. Вознося Пушкина и Толстого, резко не любил Гоголя и Тургенева. Театр отрицал вполне. Не выносил Белинского, за что много поношений принял от учителей гимназий.

Из живущих, действующей армии...

...Тут одна его черта очень ясна: никогда он не обижал слабых, молодых, неизвестных. Напротив, старался поддержать. Но «кумиры» повергал. Брюсов находился в полной славе, когда сказал о нем Айхенвальд: «преодолённая бездарность». То же произошло и с Горьким («Горький и не начинался...»).

Айхенвальд возрос на немецкой идеалистической философии. Хорошо знал Канта, Гегеля, особенно ему был близок Шопенгауэр. Отлично перевел он «Мир как воля и представление» — точно по-русски написана книга эта в его изложении.

В нем самом была горечь, тот возвышенный, экклезиастовский пессимизм, который можно не разделять, но мимо которого не пройдешь. Вот уж поистине: любил он красоту, и жизнь, и свет, но оплакивал мир. Грубость, насилие, свирепость, всё, что с такой полнотой поднесено нашему поколению, было для него безвыходной печалью. В себе самом он носил начало Добра. И в платоновские идеи верил. Но последнего Добра, воплощенного, кажется, целиком в сердце не принял.

Война потрясла его. По самому началу он решил, что победит Германия, а Россия погибнет. В первом он ошибся. Но Россия, его породившая, Россия, которую он любил безмерно, пушкинско-толстовская Россия пала — тут он угадал.

* * *

Юлий Исаевич жил в Москве на Новинском бульваре, в семье, тихой трудовой жизнью. Читал лекции на женских курсах, в воздухе девической влюбленности. Был отличный оратор. Перед началом выступленья, слегка горбясь, потирал очки и ровным голосом, словами иногда играющими (он любил фиоритуры) живописал литературные портреты.

На кафедре, как и в трамвае, у себя дома был одет тщательно и скромно. Всегда безукоризненные манжеты. Ослепительные носовые платки. Чуть-чуть пахло от него духами.

Особенно силен он был в полемике — сильнее, чем в лирическом утверждении. Мы с женой присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в Клубе педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями.

Он сидел молча, несколько бледный. «Как-то Юлий Исаевич ответит?» — спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, прекрасно владея волнением, внутренно его накалявшим, в упор расстрелял их всех, одного за другим. Он буквально сметал врагов — доводами точными, ясными, без всякой грубости или злобы. Просто у с т р а н я л.

Грубым Юлий Исаевич и вообще не мог быть, если б и захотел — джентльмен-рыцарь. За это время, что его нет уже в живых, все вспоминаешь его, и сквозь душевное волнение слышишь его тихий голос, видишь изящные руки, застенчивую улыбку, его манеру наклонять голову и слегка поддакивать ею, его сутулую фигуру, даже излюбленные его белые отложные воротнички и запах духов — если не ошибаюсь, ландыша. Вот он в пальто с барашковым воротником, не первой молодости, спешит на лекцию по снежным улицам Москвы, еще мирной, вот ведет детей своих, одной рукой мальчика, другой — девочку, через Арбатскую площадь. Ах, если бы эти мальчик и девочка шли с ним и по улицам Берлина в тот роковой день... не писал бы я этих строк.

Но его семья в Москве. Шесть лет прожил он одиноко в немецкой стране, одиноко и умер в ней.

* * *

Помню его в революцию. Вместе мы бедствовали, холодали и недоедали, стояли за прилавками Лавок Писателей. Вместе страдали душевно (что скрывать: много страдали).

Юлий Исаевич был одиночка, аристократ, художник. И — из тех, кто «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Аристократ, всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто, и деньги презирал, и аскетически жил. Но никакой хам не мог заставить его облобызать себя. Да, он сильно умел любить и ненавидеть как следует. Злой ткани в нем не было, но от зла он отталкивался. Ничто не привлекало бы его к нему. Он сказал раз светловолосой девочке в эмиграции, его «единомышленнице», как он выражался:

— Если весь мир, Наташа, признает и х , то мы с вами н е признаем. И ваша мама.

В этом он весь. Он не переносил самогона, махорки, чубаровщины. Живя до своей высылки в Москве, не умолкал. В Союзе писателей, на Тверском бульваре, вскоре после убийства Гумилева прочел восторженный доклад о Гумилеве и Ахматовой.

Разумеется, его в конце концов выслали.

* * *

В том же Союзе писателей. Для принятия в члены требовалось представить книгу. Ее давали читать кому-нибудь в правлении. Нередко Айхенвальду. Прочитав, часто он говорил:

– Ну, конечно, очень слабо...

– Значит, не принять? (У нас были довольно строгие требования «уровня» литературности.)

Тут низвергатель Белинских и Брюсовых всегда отвечал:

– Нет, отчего же. Зачем мы его будем обижать.

Он улыбался застенчиво, потряхивал кудрявыми волосами, вынимал свой безукоризненный платок, распространявший запах духов, но сдвинуть его с места, переубедить было нельзя. Он сидел за своими очками, как в крепости. В ней решал он про себя и для себя разные вопросы — и уж тогда дело кончено: ему легко было отдать что угодно из вещей, денег, но себя, свои мнения, свою истину он никому уступить не мог. Мнения его иногда бывали причудливы. Но мы все, его сотоварищи по правлению, знали отлично: как бы ни был расположен сердцем к тому, к другому из нас, мнения своего не изменит. Он спокойно голосовал один против всех. Впрочем, это, кажется, была и в жизни его излюбленная позиция: именно один, именно наедине с собою, своим сердцем.

Для людей очень «современных» Айхенвальд должен казаться старомодным. Он не скрывал своего пессимизма. Он даже особенно на нем настаивал – революция у него, как и у многих, обострила это чувство. У него были некоторые нерушимые позиции, с которых он и действовал. Для людей спорта и фокстрота он неинтересен. То, что он любил, тому, в сущности, всегда поклонялось и поклонится человечество в лучшей своей сердцевине – доколе оно не обратится в механических «роботов». Он не любил смотреть «вперед», но его очень любила молодежь, и у него всегда был для нее привет, сочувствие, внимание. Как ясно представляю я его себе, например, среди молодежи монпарнасского христианского движения!

Ибо за старомодной его внешностью, за нелюбовью к Маяковским и тому подобным жила в нем душа очень яркая, очень своя, очень утонченная и сложная.

Он как-то не признавал Истории, течения и изменения жизни. В этом был, может быть, односторонен. Но История не

была ему нужна, ибо он жил светом души, светом Вечности.

* * *

Он любил тишину, книги, семью, детей. Он провел конец своей жизни в грохоте европейской столицы в полном одиночестве. Он ненавидел машины и «цивилизацию». Машины отомстили ему и убили его в расцвете сил.

АЛЕКСАНДР БЕНУА

Близким по жизненной связанности Бенуа мне никогда не был, но фигура его явилась в ранние мои годы и, то приближаясь, то удаляясь, сопутствовала более полувека. Так что, говоря о нем, невольно говоришь нечто и о своей жизни.

В начале века в Петербурге основалось издательство «Шиповник» — З.И.Гржебин, С.Ю.Копельман. Молодые авторы импрессионистическо-модерного рода, участвовали в нем и художники «Мира искусства». Выходили в «Шиповнике» и мои книжки. По этим же литературным делам ездили мы с женой иногда в Петербург, перезнакомились с шиповниками, бывали на собраниях издательства, сразу попали в новый, высококультурный мир. Из писателей бывали на собраниях этих Леонид Андреев, Блок, Сологуб, Кузмин, Сергеев-Ценский и др. Художники — Бенуа, Добужинский, Лансере, Сомов, Кустодиев и тоже еще другие разные.

Бенуа был тогда в цвете сил и энергии, не старый, лет под сорок, но уже вождь всех этих художников, уже чувствовался в нем вес и авторитет познаний, дарований, но ничего навязываемого. Просто любезный и приветливый человек, покорявший не напором или силой, а высотой культуры и одаренности. Многие из художников этих сотрудничали в альманахах «Шиповника», там же печатались воспроизведения рисунков Бенуа. Добужинский, Чемберс украшали обложки книг и т.п.

Первое знакомство с Бенуа было очень беглое и поверхностное, все же проходит оно некоей приятной чертой — чего-то легкого, культурного, может быть, и воспитательного: мы с женой были вроде студентов перед этим изощренным, многознающим Александром Бенуа.

Чувство ученичества еще усилилось, когда попали мы в Париж, впервые в мировой центр, после милой, домашней Москвы (тогдашний Париж отличался от теперешнего, пожалуй,

больше, чем тогдашняя Москва от тогдашнего Парижа). И вот среди этих фиакров с красноносыми кучерами, омнибусов лошадиных, среди толпы парижской мы робели и нуждались в покровительстве. В самом Париже нас устраивала и опекала покойная Екатерина Алексеевна Бальмонт, наш добрый гений, поместивший нас в Латинском квартале, опекавший по делам покупок, всяких мелочей. В это же время находился в Париже и Александр Николаевич Бенуа с семьей. Жили они тоже неподалеку. Однажды в Люксембургском саду две девочки играли в бильбокэ, подбрасывали нечто вроде катушки вверх, ловили на веревочку горизонтальную с двумя ручками и вновь подбрасывали.

— Это девочки Бенуа, Атя и Леля, — сказала Екатерина Алексеевна.

Да, это были «девочки Бенуа», и тогда были они совсем маленькие.

В Париже Екатерина Алексеевна свела нас ближе с Александром Николаевичем, наладила поездку в Версаль. Тут нам просто повезло. Ехать в Версаль с т а к и м проводником!

Мы отправились все, под водительством Бенуа: Е.А.Бальмонт, Протопопов (старомоднейший и тишайший русский барин, их приятель) и мы с женой.

Передвижения тогдашние очень отличались от теперешних. Сколько было в Париже автомобилей? Не знаю. Я их почти не видел. Ездили мы с левого берега на правый на омнибусе двухэтажном, времен, может быть, Наполеона III. Круговое метро до «Этуаль» еще не доходило. Протопопов соглашался ездить от Pasteur по эстакаде, над землей, но в землю ни за что не хотел спускаться. В Версаль вся наша компания, под водительством Александра Николаевича, совершала путь в допотопных двухэтажных вагончиках — их тащил измученный маленький локомотив, задыхаясь от клубов черного дыма из конической трубы.

Но Версаль был Версалем. Тут Бенуа оказался как дома, всё знал, всё объяснял, мы почтительно слушали. И особенно чувствовали себя учениками, детьми дальней Московии. Для Бенуа все эти дворцы, зеркальные галереи, Трианоны были вполне свое (думаю, он вообще к Франции и Западу был ближе, чем к России. Вижу его в Версале, не вижу среди русских полей и лугов).

Для нас все это было весьма замечательно, но суховато, внутренне холодновато. Версаль Версалем, но по-настоящему

сердца наши раскрылись несколько позже, в блаженной майской Флоренции.

В этом Версале провели мы с Бенуа чуть не целый день, светлый и веселый, видением молодости, артистизма остался он в душе. Завтракали там же, что-то скромное, чуть ли не в crémerie. Помню удивительные цветущие глицинии, нежного голубовато-лилового оттенка, где-то у Трианона. Помню оживленное, почти восторженное лицо Александра Николаевича, показывающего нам Версаль как свое имение, где он знает и любит каждый закоулок, каждый гвоздь.

Через несколько дней он уехал с Протопоповым в Испанию, а мы с женой во Флоренцию.

* * *

Годы шли. «Шиповник» расцветал. Кроме альманахов, беллетристики, задумали они издание фундаментальное: «Историю живописи всех времен и народов» Александра Бенуа. Охват огромный — с древнейших эпох до нас. Выходило отдельными тетрадями, на отличной бумаге, со множеством воспроизведений.

Мне присылали эти тетради, из них слагались томы. Ученичество мое продолжалось, и как тогда, в Париже и Версале, проводником, наставником оказался Александр Бенуа. Но теперь вел не по Версалю, а по всему миру. Удивительны мне казались познания этого человека. И древность восточная, и Греция, и итальянский Ренессанс, и фламандцы, и французский XVIII век. При том — как это рассказано, до чего живо и своеобразно! «Вот я это вижу и рассказываю так, как вижу и чувствую именно я, Александр Бенуа, а вы можете соглашаться со мной или не соглашаться, но так я вижу и так пишу, как мне нравится».

Я зачитывался этой «Историей живописи». Она, к сожалению, не была доведена до конца: подошла война, революция. Тут уж не до живописи.

Предвоенные годы связаны с Бенуа больше всего через эту «Историю». Она хранилась у меня в деревне, в том флигеле Притыкина, где была моя библиотека, — от всего этого не осталось ныне и следа. Самого флигеля не существует — просто ровное место. «Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, книги, с усмешкой скажешь, что быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать печь, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок», — так писал я обо всем этом еще в России, еще когда флигель сущест-

вовал. Так все и вышло, только можно прибавить еще «Историю живописи» Бенуа. Тоже она погибла.

Перед войной Художественный театр задумал ставить «Хозяйку гостиницы» Гольдони. Декорации писал Бенуа. Мы жили в ту зиму в Благовещенском переулке близ Тверской. Из деревни мать прислала нам замечательную индюшку. Мы решили угостить ею Бенуа, с которым мельком я встречался в Москве.

Бенуа приехал к завтраку, как всегда, оживленный, много рассказывал о Художественном театре. Мы сами были поклонниками Художественного театра. (Даже в обстановке столовой было отражение его: дубовый квадратный стол, у стены за ним дубовая же скамья, над ней полоса серого холста — только чайки на нем недоставало.) Бенуа на этой скамье и сидел, а мы говорили о Гольдони, который всегда мне нравился.

— А выходит у них диалог гольдониевский? Ведь это быстрота такая, легкость, улыбка...

— Да приходите на генеральную репетицию, сами и посмотрите. А это кто писал? — спросил он, указывая на огромный картон во всю противоположную стену, где углем и гуашью, разноцветно, изображена была в виде танцовщицы полулежащей, в маскарадном костюме и маске моя жена.

— Это приятель наш, Александр Койранский.

— Очень недурно.

Завтрак прошел весело, Бенуа одобрил и живопись Саши Койранского и индюшку. Притыкино за себя постояло. Получили мы и приглашение на генеральную «Хозяйки гостиницы».

* * *

Когда раздвинулся занавес, сразу оказались мы во Флоренции. Милые сердцу черепичные крыши, развешанное на дворе белье по веревке, вдали бессмертная башенка палаццо Веккио, свет, разлитый повсюду, голубоватые дали. Пьеса еще не начиналась, а вся зала аплодировала — приветствовали прекрасного художника и прекрасный город.

Но сама пьеса тоже имела успех. Конечно, гольдониевского диалога, легкости венецианской и даже детскости писателя этого серьезный, основанный на «переживаниях» и психологии Художественный театр дать не мог. Получилась русская версия «Locandier»ы, несколько отяжеленная (да и сам язык русский не приспособлен к гольдониевскому щебетанию).

Всё же вышло очень хорошо. Сама «хозяйка», Гзовская, больше всех отвечала Гольдони — в ее гибкости, легкости и быстроте было как раз созвучие. Из других запомнился Станиславский — кавалер Рипафратта. Он был уморителен. Никак не итальянец, но непрерывно вызывал благодушную усмешку, очень был смешон по-хорошему. Говорили, чуть не год учился и изобретал, как сесть на стул — особенно как-то заносил ногу через спинку, садился верхом. Прелестно.

Бенуа прошел через все акты с отличным успехом.

* * *

Тут наступает перерыв, все наши горести, трагедии войн, революций, многолетних землетрясений. А после землетрясений этих оказались мы снова в том Париже, из которого ездили некогда в Версаль. Бенуа на левом берегу Сены, я на правом. Теперь не было Художественного театра, Притыкина, Благовещенского переулка, и годы подводили ближе, ближе к неизбежному. Но Александр Николаевич так и остался художником-писателем, только декорации создавал не для Художественного театра, а для миланской Scala, для Парижа, Лондона, Вены. Писал же теперь не историю живописи, а воспоминания — о Петербурге, своем детстве, о родных. Два первых тома вышли в Чеховском Из-ве в Нью-Йорке.

Иногда заходили мы с женой в его квартиру-ателье — огромная комната с книгами, увражами, картинами, много света, здесь более официальный прием. А по узенькой лестнице подымешься выше, там небольшие комнатки, столовая, рядом рабочая комната Александра Николаевича. Постаревший, не такой, как в Версале, но живой, всем интересующийся, в небольшой ермолочке, он приветливо, с оттенком барственности встречает за чайным столом гостя, сидя в кресле своем.

Прежде Анна Карловна, супруга его, разливала чай, угощала пришедшего. Но уж несколько лет как она скончалась, ее место занято Анной Александровной, той «Атей», что играла некогда в Люксембургском саду. Стиль Анны Карловны сохранен — скромность, простота, благожелательность. Да, тут мирный воздух художества и той высокой культуры, к которой принадлежал и принадлежит Александр Бенуа. Ушли все его сотоварищи по «Миру искусства», он один доживал свой век. Но век этот выдающийся. Ушли Лансере, Добужинский, Сомов — теперь новое племя из далекой петербургской земли шлет приветы, почтительные письма патриарху. А сам он тоже душою

в Петербурге, показывает альбом свой, рисунки, теперь делаемые здесь, в Париже, — опять петербургская старина.

* * *

Часто вспоминался Бенуа в эти эмигрантские годы, особенно в последнее время — хотелось, чтобы дожил он до недалеких уже девяноста лет. Смысла никакого, но почему-то хотелось. Все-таки не дотянул. Двух с половиной месяцев не хватило. В феврале мы, почтительная толпа друзей и почитателей, провожали гроб его с rue Vitu в католический храм св.Христофора, очень от него близкий. Торжественный орган встречал и провожал его.

Один из друзей покойного сказал на похоронах:

— Что же, все мы любили и почитали Александра Николаевича. Но ведь и солнце заходит вечером, когда час его наступает.

Что-то естественно-закатное было, действительно, в кончине Бенуа. Прошла высокая и деятельная жизнь — в творчестве, писании, искусстве — и дошло все до положенного предела.

Русский замечательный поэт золотого века сказал об умершем германском знаменитом поэте:

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом.
. . . .
Был многих краше, многих долголетней
И сам собою пал, как из венка.

1960

П.П.МУРАТОВ

Давно, вероятно, еще в Москве, он говорил мне:

— Мой отец умер шестидесяти девяти лет. Я его не переживу. Исполнится шестьдесят девять, и довольно...

Ему и исполнилось — в марте этого года. А в октябре он скончался, в имении друзей, в Ирландии.

* * *

Мы познакомились в 1903 году, он только что кончил Путейский институт в Петербурге, не отбывал ли военной повинности? Жил во всяком случае у Никитских ворот в доме брата, офицера генерального штаба Муратова — вместе с тем самым отцом, тихим старым военным врачом чеховской формации, переживать которого не собирался. (Когда вспоминаю этого отца, его худенькую скромную фигурку в военной тужурке — он бесшумно читает «Русские ведомости» и бесшумно живет — то вот она, фраза няньки из «Дяди Вани»: «Все мы у Бога приживалы».)

Но Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» — так до старости и осталось) — он тогда еще был юн, с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно. Иногда несколько застенчиво ухмылялся... «Да, Боря, гм...» Ходил уже тогда политераторски, а не по-военному — левое плечо свисало, и вообще по всему облику мало походил на «фронтовика». Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось.

При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться — в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные.

Первое из известных мне увлечений Муратова было военное дело, вернее сказать стратегия, фантазии о движении

войсковых масс, флотов и т.п. В 1904 г. писал он вместе с братом в московских газетах: он о морской войне, брат о сухопутной (тогда воевали в Японии). Оба были оптимистами... — и на бумаге выходило много лучше, чем в действительности. Но читалось с интересом: вроде военного «магического рассказа».

После войны, кончившейся не так, как предполагали стратеги, Павел Павлович уехал в Париж, там занялся современной французской живописью. Помню весну 1906 года, московский журнальчик «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме.

* * *

Три тома «Образов Италии» посвящены мне: «в воспоминание о счастливых днях». В этом сходились мы вполне: для обоих лучшие дни были — Италия, а его слова относятся к 1908 году, когда вместе жили мы и во Флоренции, и в Риме.

Во Флоренции, в том самом «Albergo Nuovo Corona d'Italia», который открыли мы с женой еще в 1904 году. (Существует и сейчас, и даже очень процвел.) Оттуда вместе ходили смотреть «Vedova allegra» в Politeama Nazionale через улицу, за гроши видели знаменитого комика Бенини, вместе помирали со смеху.

Под Римом солнечный ноябрьский день с блаженной тишиной Кампаньи проводили на вилле Адриана, на солнце завтракали, запивая спагетти, сыр прохладным Фраскати. (Это вино названо по городку Фраскати.) Рядом стоял осел и мило-бесстыдно ревел от избытка сил. Вдали, за серебристыми оливками, в голубовато-златистом тумане сияли горы. Да, есть чем помянуть.. Правда, «счастливые дни» — были они счастливы и в 1911 году опять в Риме (где с Павлом Павловичем и его женой Екатериной Сергеевной — весело мы встречали Новый год). «Образы Италии» и явились плодом этих дней. Их корни в итальянской земле — как все существенное, они рождены любовью. Успех «Образов» был большой, непререкаемый. В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изяществу исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития,

когда культура наша, в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке» выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го.

* * *

Война перевернула его жизнь. Какие уж там Италии! Он тотчас оказался призван как артиллерийский офицер. Сначала в гаубичную батарею на австрийский фронт, потом в зенитную артиллерию. Брата назначили комендантом Севастополя. «Патя» заведовал воздушной обороной крепости. Не знаю, много ли он сбил немецких аэропланов, да и вообще не была ли тогда воздушная война просто детской забавой.

К революции он вернулся в Москву — эти страшные годы мы виделись часто и оба старались, уходя в литературу, совсем отдаленную от современности, уходить и от проклятой этой современности.

Читали, выступали в Studio Italiano — нечто вроде самодельной академии гуманитарных знаний.

Вот н а ш е Studio Italiano. В Лавке Писателей вывешивается плакат «Цикл Рафаэля», «Венеция», «Данте». Председатель этого учреждения Муратов. Члены — Осоргин, Дживелегов, Грифцов, я и др. Читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие Женские курсы. В дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и дантова символика.

Но не в одном этом был «уход» Муратова — как раз тогда начал он свои опыты в художественной прозе — где-то в Николо-Песковском переулке, недалеко от нашего Кривоарбатского. Урывая время от службы в Охране памятников искусства, написал роман «Эгерия», сборник «Магические рассказы» (есть у него еще книга «Герои и героини»).

«Образы Италии» существенней и благородней, сама тема их более привлекает. Их место в литературе нашей неоспоримей. Но роман и рассказы, при некоторой бледности, книжности, слишком заметной связи (в языке особенно) с Западом, едва ли не больше еще раскрывают внутренний его мир: смесь поэта, мечтателя и в фантазии — авантюриста. В жизни он был и практичен, и проникнут внутренно романтизмом. Было в нем и весьма «реальное», но более глубокий слой натуры — тяготенье к магическому, героическому и необыкновенному — к подвигам, необычайным приключениям, «невозможной» любви.

«Эгерия» — это Рим XVIII века, действуют там разные шведы, графы, графини, иллюминаты, художники, есть Венеция и окрестности ее, и если персонажи скорей названы, чем написаны, все же некая терпкая и пронзающая местами поэзия сочится из этой книги. Можно говорить о маннеризме языка, все-таки обаяние есть.

«Магические рассказы» еще бесплотнее, местами совсем фантастичны и в одиночестве своем, в плетении словесных кружев из фантазий особенно сейчас трогательны: кому, для кого ныне такое? А между тем, несмотря на всю зависимость от Запада, рождено это своеобразной русской душой.

* * *

Почти в то же время, что и Италией, увлекся он древними русскими иконами. Дело специалистов определить его долю и «вклад» в то движение, которое вывело русскую икону XV века на свет Божий, установило новый взгляд на нее — насколько понимаю, тут есть общее с открытием прерафаэлитов в половине XIX столетия. Во всяком случае знаю, что Павел Павлович сделал здесь очень много (эстетическая оценка иконописи, упущенная прежними археологами).

Иконами занимался он рьяно, разыскивал их вместе с Остроуховым, писал о них, принимал участие в выставках, водил знакомство с иконописцами и реставраторами из старообрядцев (трогательные типы из репертуара Лескова). Помню, водил нас к ним куда-то за Рогожскую заставу в старообрядческую церковь с удивительным древним иконостасом.

Имел отношение и к работам (кажется, Грабаря) по расчистке фресок в московских соборах. Странствовал на север, в разные Кирилло-Белозерские, Ферапонтовы монастыри. Перед началом войны был редактором художественного журнала «София» в Москве — там писал и о Гауденцо Феррари, и о древних наших иконах.

* * *

Во время революции, повторяю, мы часто и дружески встречались. И в Союзе писателей, в Studio Italiano, в Лавке Писателей, заходил он и в огромную нашу комнату с печкой посредине, в Кривоарбатском.

Когда начался НЭП и открылась свободная торговля, иногда мы у нас даже веселились.

«Патя» вынимал пять миллионов, моя дочь, потряхивая полудетскими косичками, бежала на Арбат, возвращалась с бутылкой Нюи.

В один теплый августовский вечер 1921 года, когда в особняке на Собачьей площадке чекисты арестовали весь Комитет помощи голодающим, членами которого мы оба были, Павел Павлович вдруг (с опозданием) появился около дома.

— Куда, куда ты? — крикнул я ему в окно. — Уходи, тут...

Но он ухмыльнулся («...Ну, Боря, что там...»), не замедлил шага. Неторопливо опуская левое плечо по-литераторски, перешагнул заветную черту, отделявшую нас от свободы.

— Чего там... будем вместе.

И первую ночь на Лубянке, в камере «Контора Аванесова» мы провели рядом, на довольно жестких нарах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого «Тинторетто» я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь, и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал:

— Ну, вот, вот и еще...

Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом.

Те немногие дни, что мы провели в тюрьме (нас скоро выпустили), не были еще особенно скучны. Для развлечения — себя и других — мы читали лекции: Муратов о древних иконах, я что-то по литературе, Виппер по истории.

В 22-м году я едва не умер — от тифа. Как и ближайшие мои, Павел Павлович тяжко переживал это.

Верю, что добрым душевным устремлениям близких я и обязан почти чудесным выздоровлением.

* * *

С 22-го года почти все мы, «верхушка из Москвы», оказались за рубежом. Тут пути скрещивались, расходились, опять встречались. Берлин, Рим, Париж. В Риме он и остался. Писал по истории искусства, позже перебрался в Париж, выпустил по-французски «Русские иконы», по-итальянски «Фрате Анджелико», затем книгу о готической скульптуре.

В «Возрождении» писал небольшие, острые иногда политические, всегда своеобразные и никакого отношения к Италии не имевшие статьи (например, превосходно написанный «Русский пейзаж»). Впрочем, «несвоеобразного» вообще ничего не мог ни говорить, ни писать. С этим умнейшим человеком, ко-

торому ничего не надо было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никак не приходилось его упрекать за «середину», «золотую»: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать.

Дух некоторой авантюры завлек его в Японию, он писал и оттуда. В Токио оказался без средств, едва добрался до Сан-Франциско, но в Америке сейчас же оправился, стал читать лекции и вернулся в Париж, точно странник какого-то собственного произведения.

В Париже поселился уединенно и начал огромную новую работу: историю русско-германской войны 1914 года!

Однажды, зайдя к нему, я спросил:

— Ну как, много написал?

— Да-а... порядочно. Я сейчас на две тысячи пятнадцатой странице.

— А всего сколько будет?

— Думаю, тысяч пять. То есть моих, писанных...

Хоть и «писанных», все-таки я подумал: однако!

Но вторая война прервала этот труд. Он переселился в Англию, к которой всегда имел пристрастие. Знал язык, любил литературу ее. Кроме классиков, ценил Уолтера Патера, Вернон Ли (книга ее вышла по-русски в переводе Е.С.Муратовой). Считаю, что и к Италии у него был родственный с англичанами подход.

В Лондоне написал — как бы вспоминая юношеские свои опыты — часть истории самоновейшей войны (в сотрудничестве с г.Аллен. Если не ошибаюсь, опять русско-германской ее части) — это уже по-английски.

Годы войны провел в Лондоне. Бомбардировки, под конец летающие V-2 измучили и его сердце, и нервы. К счастью, удалось перебраться в Ирландию, в большое имение друзей, в тишину, сельское уединение.

* * *

Перед первой войной Павел Павлович раскопал удивительного англичанина XVIII века — Бекфорда, написавшего на французском языке полуроман, полусказку «Ватек»: редкостную по красоте и изяществу вещь. «Ватеком» этим меня пленил. Мы с женой перевели текст. Муратов написал вступительную статью, и в конце 1911 года, в Риме у Porta Pinciana, я дер-

жал уже корректуру «Ватека» — пред глазами моими поднимались стены Аврелиана, за которыми некогда Велизарий защищал Рим.

Павлу Павловичу нравился облик таинственного Бекфорда, автора «Ватека». Нравилось, как уединился он под конец жизни в огромном своем Фонтхилле, приказав обнести все владение высокой стеной, чтобы окончательно отделиться от мира. Там вел жизнь затворническую, отчасти и колдовскую. В «Магических рассказах» появляется у Муратова некий лорд Эльмор, как бы трагический вариант Бекфорда, тоже отделяющий себя стеной от жизни.

Ни на Бекфорда, ни на Эльмора Муратов, конечно, не походил. Все же последние его годы, в большом ирландском имении, в одиночестве, книжном богатстве библиотеки, отшельнической жизни, вызывают воспоминание о его собственном писании, о каком-то недописанном персонаже его литературы.

Нельзя сказать, чтоб и раньше он обращен был душой к людям — нет, скорее к своим интеллектуальным увлечениям. Хоть и был членом Помгола и даже «пострадал за свои убеждения», но это случайность. Узор его судьбы иной: книги, литература, одинокое творчество — и в этом он и преуспевал, как бы разнообразны ни были эти увлечения.

В Ирландии привлекали его две вещи: история — на этот раз он занялся отношениями Англии и России в XVI веке — и садоводство.

Что навело его на эпоху Иоанна Грозного, я не знаю. Но какие-то тропинки неисхоженные он нашел, что-то с в о е, никем не сказанное, конечно, сказал... (это чувствовалось по письмам) — смерть оборвала всё. А деревенский дом остался с рукописями его (наклон строк вниз — признак меланхолического склада), с грудою книг по XVI веку.

Садоводство во многом явилось, думаю, из условий жизни (хотя он всегда любил цветы, растения). Это знакомо. Живя в деревне, рядом с большим садом, в одиночестве, охотно занимаешься им, окапываешь яблони, спиливаешь сухие сучья, кусачкой обрезаешь побеги, на время забываешь о надвигающихся бедствиях. Павел Павлыч поставил это в Ирландии на научную почву: выписываются книги, он сам учится — и вот скоро он уже знаток своего дела.

Не только запущенный старый сад обратился в образцовый, но даже соседи приезжали учиться плодоводству и садовой премудрости.

Друзья — владельцы имения нередко уезжали в дальние путешествия. Из-за болезни сердца Павел Павлович никуда не мог тронуться.

И раньше, в молодые годы, он чувствовал некое расположение к простым, народным людям. Теперь сближался еще более. Его считали не совсем обычным — что и верно. «Профессором» называли в околотке. Может быть, для ирландских земледельцев был он отчасти и таинственным заморским персонажем.

Будто в некоей литературной постановке, последний его час пришел в одиночестве. Он скончался от сердечного припадка, безболезненно и мирно, как и жил. Как и у лорда Эльмора, при нем находился только француз-повар, недавно выписанный из Парижа.

1950

ОГЛАВЛЕНИЕ